





Андрей Фролов

КОГДА-НИБУДЬ...

Стихотворения. Правдивые истории



ОРЕЛ - 2023

УДК 82
ББК 84(2р)6
Ф 91

Издание осуществлено при поддержке
Орловской региональной общественной организации
«СОЮЗ ВОЕННЫХ ЛИТЕРАТОРОВ»

Фролов А. В.

Ф 91 Когда-нибудь... Стихотворения. Правдивые истории –
Орёл: Издательство «Картуш», 2023.– 260 с. с илл. (Серия
«Орловщина литературная – Современники»)

ISBN 978-5-9708-1068-2

В книге собраны стихотворения и прозаические зарисовки, созданные в разные годы двадцатипятилетней творческой работы Андрея Фролова. Центральной фигурой творчества известного орловского писателя всегда является человек, сквозной темой – его отношения с окружающим миром людей и природы.

Завершает книгу интервью писателя православному литературному порталу «Правчтение».

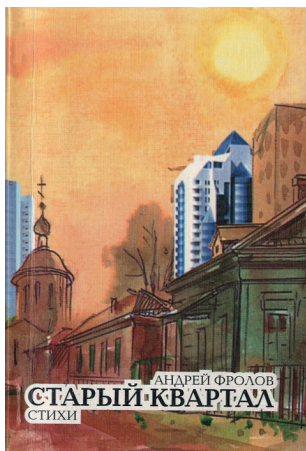
УДК 82
ББК 84(2р)6

Оформление серии – *Трудников А.В.*

ISBN 978-5-9708-1068-2

© А.В. Фролов, 2023
© ООО ПФ «Картуш», 2023

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ



«Примечательной книгу делает смелость автора быть в наши дни... «реалистом» и писать «простые» стихи. Причём, что немало важно, хорошие стихи. Реализм Андрея Фролова – лучший (потому что художественный) ответ нытикам постмодернизма – радателям всеобщей виртуальности жизни.

Почти все стихи в книге имеют названия, и это не столько признак «первой книги» поэта, сколько вообще «рассказности» его стихов. Они как маленькие рассказы, – с сюжетом, главным героем, характерной концовкой. И лично мне напоминают прозу Шукшина».

*Алексей Шорохов о книге «Старый квартал»
(Орловская правда, 2000)*

«Стихотворениям Фролова свойствен как бы спокойный и как бы сообщительный тон, но эти «как бы» скрывают в себе пружину строк и четверостиший, туго натянутых и обычно разряжающихся в конце.

Никакого украшательства, поэт обходится минимумом средств, но почти всегда стрела летит в цель».

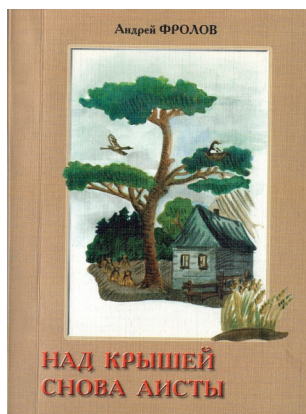
*Николай Перовский о книге «Старый квартал»
(Орловский вестник, 2000)*

«Это первая книга стихов поэта, которого как-то не хочется называть снисходительно «молодым», ибо сборник доказывает его полнозрелость. Точность языка, свежесть образов, емкость высказывания – этого более чем довольно, чтобы новое имя вошло в обиход известных. Негромкая лирика Андрея Фролова бережно проложена мягкой иронией, оттого не срывается в пафос на высоких нотах».

***Владимир Ермаков о книге «Старый квартал»
(Орловский вестник, 2000)***

«Сейчас о поэзии А. Фролова можно с уверенностью сказать: «В стихах многих начинающих много подделок под изображение наступающего утра, а у Фролова на его картинках из жизни сверкают подлинные лучи восходящего солнца». Так пусть они разгорятся и освещают волшебным светом нашу жизнь во всей её сложности бытия!»

***Николай Родичев о книге «Старый квартал»
(Поколение, 2001)***



«Андрей Фролов пишет чисто и легко. Он давно овладел тем, что называется малыми секретами поэзии. Само изложение мысли в стихотворной форме не представляет для него больших затруднений. Он непринуждённо говорит стихами о чём угодно, и поэтому в книге его сказано о многом. Тематика его стихов разнообразна. Это

психологический портрет, пейзажная зарисовка, в которой невзначай появляется лирический герой, это размышления о времени и экскурсы в историю, мысли о Родине и своём месте на земле и в мироздании».

*Ирина Семёнова о книге «Над крышей снова аисты»
(Орёл литературный, 2005)*

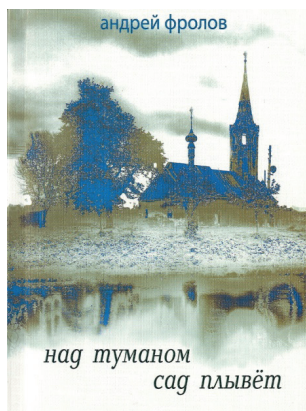
«Вторая книга стихов орловского поэта Андрея Фролова характеризуется многообразием тем и простотой подачи материала. Со страниц сборника к читателю сходит по-настоящему многоголосый мир, в котором есть место всему, включая детские голоса, хотя автор пишет, в общем-то, для взрослого читателя.

Вот довольно короткое стихотворение «Возвращение», в которое с виртуозным мастерством оказались втиснуты и целая пропасть, разделившая любящих людей, и одновременно бездна любви и прощения, которая помогла лирическому герою встретить вернувшуюся любимую так, будто и не было меж ними никакой разлуки: *«Ушла, сказав: «Неинтересно /пропасть с тоски во цвете лет...» / Остались стол, кровать, два кресла / и остывающий обед. / ...Вернулась. Походя и мило / смахнула пыль минувших зим, / как будто просто выходила /минут на двадцать в магазин».*

Такие же простые слова Андрей Фролов вкладывает и в уста ребёнка (или это и правда говорит с нами сидящий в нём самый вечный ребёнок?): *«Вот это да! / Вот это да: / В ведре с водой / Дрожит звезда! / Беда! / Промокшая звезда / Сейчас погаснет навсегда! / А я спасти её могу /И в сад с ведром воды бегу – / Я воду выплесну под куст, / Звезда летит на небо пусть!».*

Вот так бесхитростно – простыми словами – говорит с миром автор о глубоком и важном. И эта ясность его суждений о мире очень легко ложится на читательское сознание, вызывая в ответ такие же хорошие и бесхитростные чувства».

***Николай Переяслов о книге «Над крышей снова аисты»
(Наш современник, 2005)***



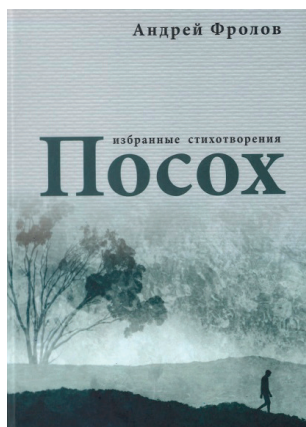
«Поэзия – это не веер метафор, а глубина и прозрачность». Слова Карена Джангирова, как нельзя лучше, характеризуют поэзию Андрея Фролова. В ней «всё на русском языке», всё ясно. Тем не менее, хотя и всё понятно, стихи Фролова так и тянет перечитать. Ведь он пишет не только о себе, но и о нас.

*Страсть уходит. Остаётся
Ровный круг тепла и света.
Будто утреннее солнце
В самой середине лета.
Пониманье с полужеста
Молчаливая порука
И спокойное блаженство
От присутствия друг друга.*

Читаешь – и понимаешь: перед нами лирик. Но любой лирик является историком своего времени, своего поколе-

ния. И в самом деле – по многим стихам Фролова можно будет в дальнейшем изучать и некоторые страницы нашей истории. И если не сами события, то уж точно – настроение народа и его отношение к этим событиям. Поэзия не врёт – в отличие от многих учебников истории».

***Юрий Асмолов о книге «Над туманом сад плывёт»
(Орёл литературный, 2014)***



«Изображая окружающий мир и рассуждая о нём, поэт не склоняется к назидательности. У него всегда высокое устремление содержит оговорку, которая прикрепляется к реальной картинке, к конкретному человеческому характеру, к тому или иному русскому житейскому обычаю.

В поэзии Андрея Фролова виден образ корневого русского человека, затронутого цивилизацией только внешне, но будто затаённого в ожидании перемен, когда всё фальшивое и легковесное получит своё истинное имя, а настоящее выйдет из векового затвора и явит себя во всей своей широте и правде».

***Вячеслав Лютый о книге «Посох»
(Общенисательская литературная газета, 2015)***

«Надо сразу отметить, что у поэта Андрея Фролова свой голос, своя манера передачи чувств. Пишет он с мужской сдержанностью, словно экономя слова, не разбрасывая их

без дела налево и направо. Руководствуясь тем, что в поэзии каждое слово на вес золота.

Поразительная точность в деталях радует и берedit душу. Мы видим с помощью поэта стелющиеся по земле белесые туманы, похожие на широко разлившиеся воды. Всё в коротких стихотворениях волнующе и зримо. И нам уже интересно следовать за поэтом на рыбалку, на зимнюю реку Оку, перепоясанную лыжнёй, и в лето, на покос:

*Срываю потную рубаху –
Не деревенских я корней,
Но я упрям, и с каждым взмахом
Строка прокоса всё ровней.
Здоровье вроде не воловье,
А не устал за два часа –
Шепчу старинное присловье:
«Коси коса, пока роса!»*

После прочтения стихотворения «На покосе» мне невольно вспомнился Кольцов с его удивительной лирикой труда: «...Раззудись плечо, размахнись рука...», Твардовский: «Коси коса, пока роса, роса долой и мы домой.», Есенин, при виде занятых на сенокосе сельчан: «К чёрту я снимаю свой костюм английский». И здесь на лугах отечества, словно состоялась встреча русских поэтов.

*Геннадий Петелин о книге «Посох»
(Российский писатель, 2017)*



ОБРЬВКИ СНОВ...
СТИХОТВОРЕНИЯ





КОЛЕСО

Колесо по дороге катилось,
на ухабах стираясь до дыр.
В нём усталая белка крутилась –
приводила в движение мир.

Ах, как весело спицы сверкали!
Мир раскрученный мнился иным,
колесу мы кричали в запале:
– Ну давай!..
И летели за ним...

Пронеслось, прозвенело, умчалось
в даль далёкую, за окоём.
Только пыль на дороге осталась,
в нас – инерция. Так и живём.

Так живём, одурманены снами,
в переулках уютных квартир.

Колесо догнивает в канаве.
Белка сдохла.
Но крутится мир!

ОТРАЖЕНИЯ

Месяцы, годы, века
катит река облака,
солнца размазанный блин,
птиц недостроенный клин,
старой сосны остриё
и отраженьё моё...

ВОСПРИЯТИЕ УТРА

Еле светает, а я уже мчусь на работу
и улыбаюсь такому ж, как сам, идиоту –
каждое утро я бодро ему улыбаюсь,
возле облезлой чугунной ограды встречаясь.
Небо сырое висит в ожидании солнца,
кажется, свистни –
и вниз оно тотчас сорвётся.
Сплющит в лепешку
своей многотонной громадой
мир,
окружённый ажурной чугунной оградой,
мир,
где людей не собаки кусают, а люди,
мир,
бесприютней которого нет и не будет...
Всё же я рад за себя и того идиота –
есть у нас общее:
есть у нас дом и работа,
краешек неба, где каждое утро восходы,
и обязательный минимум личной свободы.

ЗАТИШЬЕ

Слабеющий зайчик
последнего солнца
с церковного купола
падает вниз
и между крестами
уныло плетётся,
и вязнет в пыли
позабытых гробниц.
Глядит исподлобья
больная собака,
Прижав к животу
леденеющий хвост.
Мохнатым крылом
неминучего мрака
склоняется небо
на тихий погост:
тревожно и медленно,
будто немилость
ниспослана Богом
на здешний приход.
И если ещё ничего не случилось,
то лишь потому,
что случится вот-вот...

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Город толстым ватным слоем
оглушила тишина.
Выползает небо злое
из чердачного окна.

В атмосфере неприязни
и в нашлёпках рыхлых туч
задыхается и вязнет
ослабевший солнца луч.

В поднебесном отдаленье
кто-то свод рванул по шву,
и тревожное томленье
натянуло тетиву...

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТНЕМ ДНЕ

Стояла вязкая жара:
на липах лопалась кора.
Мотоциклист, трамвай и дом
висели в воздухе густом.

Инспектор бдительной ГАИ
забыл инструкции свои,
и светофора мутный глаз
мигал лениво, через раз.

У бочки с пивом гражданин,
как разогретый пластилин,
сползал в ботинки не спеша,
над ним плыла его душа.

Листвой топорщился каштан,
сочился ржавчиной фонтан...
А над фонтаном – вот дела! –
игриво радуга цвела.

В АВГУСТЕ

В августе небо ближе к земле...
Липы листвою ложатся под ноги.
Будто в былом старикашка убогий,
ветер копается в рыжей золе.

В глади реки, как в зеркальном стекле,
зримей стократ неизбежность итога.
Чаще мольбы долетают до Бога –
в августе небо ближе к земле.

* * *

В период коротких закатов
кусаются злее недуг.
Туман под деревьями матов,
а воздух холодный – упруг.

Ночная тревожная птица
клянёт ледяную росу...
И очень легко заблудиться
в себе, как в дремучем лесу.

* * *

Теперь, как и прежде, зима неизбежна.
Хотя не морозно ещё и не снежно,
но в сумерках рыжих запуталось время,
как спички, сгорев, почернели деревья.
А небо готово на землю свалиться,
и первыми это почувляли птицы
и, вскинувшись, высь надо мной раскачали.
И сердце застыло в предзимней печали...

ЗИМНЯЯ НОЧЬ В ЯЛТЕ

Сварливый ветер, с ночью споря,
порой срывается на визг.
Вчера упало солнце в море,
подняв фонтан весёлых брызг.

На дне небесного колодца
блестят ухмылки хитрых звёзд.
Вчера упало в море солнце,
мир без него почти замёрз.

Луна, повисшая над взгорьем,
бледна и кажется больной.
Вчера упало солнце в море —
оно с тех пор кипит волной.

БАЙКА

Дело-то смешное приключилось,
дело-то – не стоит и гроша:
в собственных потёмках заблудилась
чья-то бесприютная душа.

Лес не лес, болото не болото...
И уже от страха чуть дыша,
высмотреть пытается хоть что-то,
но во тьме не видит ни шиша.

Ладно бы потёмки-то чужие:
ты туда не суйся – и хорош!
Ну а тут же – на тебе, дожили:
в собственных себя же не найдёшь...

Кто-то скажет: «Знаем байку эту»,
усмехнётся: «На уши – лапша!..»
Только очень, очень хочет к свету
выбраться пропащая душа.

ПРОВОДЫ

Впереди был дальний путь,
проводжали стонами.
Плач прощальный «Не забудь!..»
бился над вагонами.

Тяжело вздыхал баян,
на печаль настроенный, –
пел о том, что нету стран
в мире лучше Родины.

Так велось со старины:
с поводом, без повода,
даже если нет войны –
со слезами проводы.

В пути

Стуки на стыках
стальных перегонов.
Дали,
дымы
и гудки.
О горемыках
в плацкартных вагонах
песни поют сквозняки.

К призрачной цели
по сгорбленным спинам
дюжих атлантов-мостов.
Сходу – в тоннели,
вразбег – по равнинам.
В Пензу,
в Саратов,
в Ростов...

* * *

*Телегой движет воля божья.
А потому – ей чёрт не брат.*
Геннадий Попов

Петляет в сумерках дорога,
ей и назад – всегда вперёд.
И волей путника и Бога
очерчен каждый поворот.

Её движение незримо,
как неосознанный разбег.
Тень векового пилигрима
к ней приторочена навек...

Посох

В зоревых, тяжёлых росах,
в стылой сумеречной мгле
по земле блуждает посох,
дыры делая в земле.
Сеет смуту и раздоры,
и судачат старики:
– Бродит в поисках опоры,
твёрдой, праведной руки...

ВИДЕНИЕ

В котомке квас да мятный пряник,
большою думой светел лик –
в моей отчизне каждый странник
в своём убожестве велик.

Пряма, как лезвие, дорога,
бела, как помыслы, луна.
Спокойно спит моя страна,
в своём величии убога.

Со старины привычна к боли,
к обилью жертвенных кровей...
Обрывки снов пасутся в поле,
их караулит соловей.

Юродивый

Тих, одинок, печален.
Нечего взять с него.
Смотрит из-под развалин
разума своего:
взглядом пронзит тяжёлым,
и не удержишь слёз.
Папёрть метёт подолом,
что-то бубнит под нос.
Скорбный, как шорох листьев,
голос его дрожит.
И от колючих истин
в страхе народ бежит.

РЕПЕЙ

Под небом пыльным и сухим,
меж двух сквозных степей,
живёт адептом строгих схим,
отшельником репей.

От зноя жилист он и чёрн,
тревожен, как беда,
корнями в выветренный дёрн
вцепился навсегда.

Когда тебе у той черты
случится проходить,
не пожалей глотка воды
и дай ему попить.

РЕКА

Заросли чертополохом
и крапивой берега.
Нашим «ахам», нашим «охам»
соболезнует река.
И течением гонимы,
рядом – руку протяни –
проплывают мимо, мимо
разукрашенные дни.

На шипах оставив кожу,
кто-то прыгает в поток,
и его уносит тоже,
будто сорванный листок.
Слышен крик:
– Ах, как неплохо
было жить на берегу,
в тишине чертополоха
прозябать и – ни гу-гу...

Мужицкий разум

Избу поставить – разом!
Работа не за страх.
Гудит мужицкий разум
в мозолистых руках.

На море и на суше
в любых делах мастак.
Он даже бьёт баклуши,
отнюдь, не абы как.

Прочищен, водкой смазан,
под кнут поставлен – ну!
Сопит мужицкий разум,
прёт на себе страну.

ИДЕАЛИСТ

– Счастье где-то за морями... –
сколько лет уже тому,
как густыми вечерами
пела бабушка ему.

Добредя до края света,
переплыв пятьсот морей,
убедился – счастья нету,
но ничуть не стал мудрей.

За спиной последний берег,
не приветивший мечту.
В сказки бабушкины веря,
он ступает за черту.

Всё яснее песню слышит
и уже не держит слёз.
Ветер дружески колышет
гриву пасмурных волос.

ЕДЕМ!

Пролетаем под мостами,
зарываемся в тоннели...
Ехать мы уже устали,
перепили, переели.
Но упорно едем, едем –
путь стальной исповедим,
достаём кошёлки снеди
и опять едим, едим...
Едем лёжа, сидя, стоя
сквозь леса, поля и горы.
Тратим время золотое
на пустые разговоры.
Прибыв к месту назначенья,
ностальгией раним грудь
и со вздохом облегченья –
в непростой обратный путь...

ПОЕЗД ДАЛЬНОГО СЛЕДОВАНИЯ

Приковылял издалека,
вдохнул железной кожей.
Привёз чужие облака,
на наши не похожие;
привёз печаль чужих краёв,
чужого ветра веянье
и пассажиров-муравьёв –
полтысячи, не менее.
Стряхнул всё это на перрон,
томим иными далями,
и, позабыв один вагон,
поспешно двинул далее.

БЕЛЫЕ БЕРЕГА

Памяти Николая Ивановича Родичева

Проводница уж так строга,
будто главная в МПС.
Еду в Белые Берега
сквозь насупленный Брянский лес.
Там песок побережный бел,
точно сахарный рафинад!
У меня там всего-то дел,
что рыбалка да променад
по исконно грибным местам –
там чудес и красот – не счесть!
Если нету чего-то там,
уж не знаю, где это есть...
В ожиданье к стеклу приник,
чай в стакане остыл давно.
Проводницы тигриный рык
не даёт распахнуть окно,
за которым светлеет мга.
Разветвляется путь стальной –
вот и Белые Берега!
Проводница, махнём со мной!..

РОДЫ В ЛАГЕРЕ ГЕОЛОГОВ

Это ж надо такому случиться!
Озадачен седой проводник:
– По тайге до ближайшей больницы
сотня вёрст, если взять напрямик.
Не успеть. Да и много ли проку
от казённых неласковых рук?
Знаю, есть тут поблизости доктор
повивальных, особых наук:
лет пятнадцать тому на заимке
поселилась под старость вдова,
полоумная бабка Иринка...
вот и выручит, если жива.

...Повитуху привёл лишь к рассвету –
по тайге не проложишь аллею.
У мамыши уж моченьки нету,
а папаша – крахмала белей.
Повздыхала и сделала дело –
не спеша,
с расстановкой,
не вдруг.
Приняла, спеленала умело,
исподлобья взглянула вокруг:
на мужчин, что глаза отводили,
на бесстыдно орущий клубок.
Усмехнулась:
– Ори, коль родили,
ты на жизнь обречён, голубок...

КОММУНАЛКА

1. Утро

Понедельник. Час рассвета.
Коммунальный коридор.
В ожиданье туалета
вяло тлеет разговор.
И вот-вот совсем потухнет,
темнотой углов распят...
Озабоченно на кухне
восемь чайников сипят.
Завтрак. Судорожный выход –
кто к станку, кто на базар.
Дверь жильцов листает лихо,
как услужливый швейцар.

2. Морской волк

Дядя Коля списан с теплохода –
потому в запое третий год,
и его мятежная природа
продыху соседям не даёт:
то швырнёт их в пасть водоворота,
то волной накроет штормовой...
Зря, конечно, изгнан из морфлота,
бывший первоклассный рулевой.
Вот и сам он: в латаном бушлате,
испитой и выпитый до дна,

маятно распластан по кровати,
будто вахта трудная сдана...
Но вниманье: цокают стаканы –
дядя Коля снова «у руля»...
Стойкие к волнениям тараканы
драпают, как крысы с корабля.

3. Зина

У Зины насуплены брови,
житейская складка меж них;
у Зины хромает здоровье,
а тут ещё бросил жених.
И что ему, глупому, надо?
Да, впрочем, и парень-то – так...
Устав от такого расклада,
она попивает коньяк.
Стучится под вечер к соседу,
пытается выдавить смех
и... с треском ломает беседу,
озлобившись:
– А чтоб вас всех!...

4. Вечер

К ночи тягостней промахи власти,
откровенней мольбы стариков –
и коммуна дробиться на части
перещёлком надёжных замков.

Гулко кашляет, пьёт валерьянку,
раздражаясь нахальством луны;
убеждает себя: спозаранку –
на работу во благо страны.
А когда перед самым рассветом
беспокойным забудется сном,
беспардонным охрипшим дуэтом
прогнусавят будильник отпетый
и дежурный петух за окном...

БОБЫЛЬ

Под сочащимся ржавчиной краном
торопливо стирает бельё,
объявляет войну тараканам
и проигрывает её.

Вечерами вздыхает устало,
как в период страды тракторист,
и заглатывает сериалы,
поминутно влюбляясь в актрис.

Поливает щетинистый кактус,
не надеясь, что тот зацветёт.
Если спросишь участливо: «Как ты?»,
угловато плечами пожмёт.

ОДИНОКОЕ СЧАСТЬЕ

Темно в квартирке Надиной,
лишь тени на стене.
Сынок, в капусте найденный,
агукает во сне

Игрушки поразбросаны
по пёстрому ковру.
На кухне сохнут простыни
и высохнут к утру.

Над крышей снова аисты.
Эх, дочери-сынки!..
И Надя с тихой радостью
стирает ползунки.

Жаль, нету обручального
колечка на руке.
А тишина над спальнею
висит на волоске.

Лото

Старушка играет в лото,
забросив на время шитьё.
Одна – ей не нужен никто.
И нет никого у неё.

В кармашек лорнет помещён –
не так уж ещё и стара,
и голос не дрогнет ещё,
«выкрикивая» номера.

Поправив дарёную шаль,
достала число «двадцать пять»
и затосковала: «Как жаль,
что некому проиграть».

ПРО СОСЕДКУ

Долго не пишется...
Яблони ветка
лезет в окошко, тихонько звеня...
Тут вот на днях прицепилась соседка:
«Ты, – говорит, – напиши про меня.
Я ж, погляди-ка, страдаю от веку:
брошена, дети – сиротки, как есть...»
Как же, ну как объяснить человеку:
судеб разбитых на свете – не счесть.
Нынче хорошее встретится редко,
чаще – предательство, злоба, враньё.
Ну а соседка... Да что там соседка!
Я ведь уже написал про неё:
в этом стихе и вот в этом, и в этом –
долго верёвочку горькую вью...
Нет. Обзывает хреновым поэтом –
хочет фамилию видеть свою.

НЕ ПАРА

Он не мог любить другую,
эту же – терпеть не мог.
Вот и тыкался вслепую
в перекрестия дорог.

И она при редкой встрече
гордо тешилась игрой,
а потом комкала вечер
над подушкой сырой.

Вместе быть нельзя им было,
врозь сгорали от тоски...
Хромоногая кобыла
ковыляла вдоль реки.

ТАНЮХА

Вновь за окошком слякоть,
серых дождинок вязь —
повод неслышно плакать,
от дочерей таясь.

Старый жених отвергнут,
новый — как младший брат.
Тлеет в бокале вермут,
карты любовь сулят.

Глаз синева хмельная
вылакана до дна.
Всё на пути сминая,
снова грядёт весна.

СЕМЬ ЛЕТ

Не спеша вдыхал рассвет
запах сеновала.

– Мне б прожить с тобой семь лет, –
ты тогда сказала, –
Их хватило бы с лихвой,
пусть не очень много...

Пахло скошенной травой
от тебя и стога.

Много радостей и бед
нам судьба дарила.
Вот и минуло семь лет...
Надо же, – хватило!

ОДНОЛЮБ

Нёс, как вылинявшее знамя,
жизнь, полученную в рассрочку.
Всякий раз, расплатившись с долгами,
выпивал по ночам в одиночку.
Иногда, словно выключив разум,
озирался вокруг виновато
и влюблялся по сотому разу
в ту, с которой расстался когда-то...

РАССВЕТНОЕ

Над туманом сад плывёт:
вишни, облепиха...
Новый день больших забот
народился тихо.

Он покуда ничего
никому не должен.
Не омыл пока его
беспризорный дождик.

Не нагруженный виной,
еле-еле зримый,
день растёт очередной
и неповторимый.



Грузовая

1. Утро

Дробный пробег трамвая,
окон неяркий свет –
улица Грузовая
гнётся под грузом лет.

Улочки невеликой
знатный абориген,
батя скрипит калиткой,
валенки – до колен.

Заново узнавая,
смотрит из-под руки:
улица Грузовая,
тусклые огоньки.

2. Вечер

Пахнет вареньем клубничным
и самоварным дымком.
В ярком трико заграничном
вылез на свет уличком.

У доминошников ярых
неиссякаем задор.
В местных, незлых, кулуарах
бабки ведут разговор:

– Давеча было такое,
даже не верю сама!..
Сделав зигзаг над рекою,
сумерки лезут в дома.

3. Полночь

Улочка, наспех запорами клацая,
бредит, ко сну отходя.
Пряный настой расплескала акация
после шального дождя.

Неподалеку прононсом диспетчера
сонно бормочет вокзал.

Стихло...

Стыдливо из Космоса вечного
месяц рога показал.

Дедова липа над крышей сутулится,
скрыв от напастей жильё...
Если бы этой не было улицы,
я бы придумал её!

ВЕСНА ВО ДВОРЕ

Весна шарахнула во вторник,
её уже заждался двор.
И дед Савелий, бывший дворник,
слезу нежданную утёр.

Вразбег по пенящимся лужам
снуют весёлые лучи,
ворона скачет неуклюже
через проворные ручьи.

Играют в салки две девчонки,
и, словно принятый в игру,
наш новый дворник,
Саня Пчёлкин,
гоняет мусор по двору.

Скворец пальнул
картечью трелей,
ему откликнулся другой!..
А на припёке дед Савелий
сердито топает ногой.

ПОЛИВАЛЬЩИК

Картину детства в сердце берегу я:
Володька Рыжий, дворничихин внук,
схватив за шею радугу тугую,
над головою чертит полукруг!

Широкий веер радужных осколков
с шипением врезается в газон.
А мы поодаль, хмурые, поскольку
к Володьке подходить нам не резон.

Штанины клёш – такая нынче мода,
под синяком сверкает хитрый глаз...
Что говорить, он старше на три года –
почти эпоха разделяет нас!

УРОК

*Татьяне Алексеевне Сидоровой,
учительнице литературы*

Татьяна Алексеевна,
влюблённая в предмет,
глядит на класс рассеянно,
как будто класса нет.

Она – Татьяна Ларина,
любовь её светла.
Мятежная испарина
на чистый лоб легла.

Отброшены сомнения,
и пишется само
беспечному Евгению
любовное письмо.

И мы сидим притихшие,
на нас из-за окна
глядит глазами-вишнями
серьёзная весна.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Игорю Гурову

Мне, против правил строгих,
грудь раздирает смех:
уже я выше многих,
а буду – выше всех!

И вот она, вершина!
Плюю украдкой вниз.
На высоте орлиной
без крыльев я завис!

И ветерок бодрящий
ласкается...
Но чу?!
Качу по нисходящей,
уже не хохочу.

«Скачусь я до упора,–
себе тихонько лгу,–
и снова дёрну в гору
на следующем кругу...»

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

Тень от удочки кривая,
чёрной лунки мутный глаз...
Дробь зубами отбивая,
я рыбачу третий час.

В двух шагах приятель Колька
вмёрз по щиколотки в лёд –
напряжён, подобран...
Только
и у Кольки не клюёт.

Мимо нас, почти неподвижных
и слепых от белизны,
пролетает бравый лыжник –
пар клубится от спины.

Резко вскидывая палки,
метки ставит на снегу...
Мне уже не до рыбалки,
я за лыжником бегу.

ЗАРИСОВКА

Уснула на зиму Ока,
перепоясана лыжнёй.
Чернеет клякса рыбака,
вооруженного пешнёй.

Заявкой робкой на успех –
четыре льдинки-окунька.
Негромко вскрикивает снег,
попав под тяжесть каблука.

* * *

В январе, беспокоясь о лете,
дед почёсывал хитрую бровь:
– Всё изменчиво, парень, на свете,
ты, давай-ка, телегу готовь...
И с колючей смешинкой смотрели
голубые глаза на меня...
Дед три дня не дожил до апреля.
Как морозило эти три дня!
Но кончины своей накануне
улыбнулся морщиною рта:
– Не забудь за жарою июня
на санях заменить два болта...

* * *

Сноровисто скрипят по снегу сани.
Ворчит на неуступчивый мороз
возница с генеральскими усами,
прогорклыми от дымных папирос.

А мы лежим в колючем, хрустком сене,
хранящем прошлогоднее тепло,
и едем в незнакомое доселе
дремучее сибирское село.

И нас везут не кони, а драконы –
не пар, а дым клубится из ноздрей.
Мы сказочным предчувствием влекомы –
доехать бы, доехать бы скорей!..

Но путь далёк. Смежаются ресницы.
Сливаются в тягучий, долгий миг
и снега скрип, и говорок возницы,
и фырканье драконов вороных.

ПирогИ

В доме пахнет пирогами.
В доме чисто вымыт пол.
Я давно хожу кругами,
глядя искоса на стол.

Там укутан в покрывало
хлопотливый мамин труд.
Уходя, она сказала:
– Не таскайте,
пусть дойдут...

Но какой же запах вкусный!
И с самим собой в борьбе,
я тещу сестре – с капустой,
с мясом – папе и себе...

Мама громко нас ругает,
отводя смешливый взгляд.
Если пахнет пирогами,
значит в доме мир и лад!

ИЮЛЬСКИЕ СТИХИ

1. Ночь

Вышла из-за облака луна,
озарив округу бледным светом.
Крикнешь, и ночная тишина
выстрелит раскатистым дуплетом.

Ото сна встряхнёт речную гладь,
распугав ватагу юрких бликов,
и сомкнётся наглухо опять –
до зари, до первых птичьих криков...

2. Утро

Старый пруд, затерянный в глуши.
У воды ракиты прикорнули.
Браво, в три шеренги, камыши
замерли в почётном карауле.

Резкий взмах пружинистой удой –
чуть с оттяжкой влево, как учили, –
снасть несётся пулей над водой
и, блеснув, скрывается в пучине.

Гаснет рябь от лёгкого шлепка.
Жду, волнуясь, первого успеха.
Тишина настолько глубока,
что не возвращает даже эха.

СЪЁМКИ

Глухое рывканье мортир,
дым в поле, как стена...
Снимают фильм «Война и мир» –
сейчас, как раз, война.

Гороховецкий полигон
теперь – Бородино.
Наш взвод в массовку приглашён...
Такое вот кино!

На десять дней ворвался свет
в армейский серый быт!..
Жаль, во француза я одет
и должен быть убит.

Красиво падать учит нас
известный каскадёр.
И вот грохочет, как приказ:
«Внимание! Мотор!»

Кино – серьёзная игра:
бежим в атаку, но
лихое русское «ура»
кричать запрещено.

Штабной московский генерал
безмерно горд за нас,
а я бы русского играл
правдивей в десять раз!

Триптих

1.

Стало, кажется, теплее...
Вот и двинулись снега
вдоль окраинной аллеи
дальше – за город, в луга.
Там набрякли и оплыли,
а расквасятся едва –
из-под них попрут полыни
и другая трин-трава...

2.

Становлюсь сентиментален.
С каждым мартом всё ясней
слышу выдохи проталин
сквозь галдёж весенних дней.
И последним снегом таю,
и к тебе бегу ручьём,
и без умолку болтаю
обо всём и ни о чём...

3.

Стань же ты ко мне теплее.
Пусть я вздорный и чумной –
вместе мы переболели,
перебредили весной.
Лето мирно пережили...
Свинцовеет окоём.
Скоро осень.
Дорожим ли
тем, что до сих пор вдвоём?

* * *

Я с тобою говорю об одном...
О нелепо опоздавшей весне,
о цветах в пыли, о море ночном,
о Чукотке – незнакомой стране.

Говорю, что снова будут снега,
что у времени должок предо мной,
что дорога тяжела и долга,
что усталость – неизбывной виной.

Говорю, как в небе тает звезда,
как на луг ползёт дремучий туман,
как одышливо сипят поезда,
не доехав до неведомых стран.

Как понуро зябнет дождь под окном,
как заря в ночи целует зарю...
Я с тобою говорю об одном –
я с тобою о любви говорю.

* * *

Подожди,
не спеши,
послушай...
Поплутав по земной пыли,
друг на друга наткнулись души
и одна в другую вросли.

Вздрогнул мир,
покачнулся,
замер,
словно сжатый в одной горсти,
когда встретились мы глазами,
чтоб вовек их не отвести.

Утешения нет в обиде,
вот же,
вот оно, естество:
слышать, слушая,
глядя – видеть!
И важнее нет ничего.

* * *

Всё у тебя по полочкам,
всё-то уже там есть...
Как сквозь ушкó иглочное
мне в твою жизнь пролезть?

Круг твоих дел обыденных
вычерчен чьей рукой?
Где ж тебя так обидели,
что незнаком покой?

Мыкаюсь где-то между я
прочных твоих забот
и дорожу надеждою,
что пригожусь вот-вот...

Вместе однажды выйдем ли
к свету иного дня?..
Будь милосердна, выдели
полочку для меня.

СВАТОВСТВО

Насупленный штакетник,
два пристальных окна...
В руках моих букетик,
в коленях – слабина.
Внезапный скрип калитки,
как властный окрик – эй!..
Я медленней улитки
ползу к судьбе своей.

До онеменья страшно
в отчаянье гадать:
что если твой папаша
не хочет тестем стать?
Что если мой букетик –
совсем не аргумент,
и мать твоя ответит
категоричным «нет»?..

Я делаюсь отважным
и злым, как во хмелю, –
Одно, одно лишь важно:
Что Я
ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ!

Юг

Вспоминается всё реже,
к сожаленью, нам с тобой
городок на побережье
в лёгкой дымке голубой.

Дремлют домики-скворешни.
Воздух хрупок, как стекло.
Продаёт грузин черешни
(сколько было за кило?)

Над жаровнями распяты
бастурма, шашлык, самса.
Будто пёстрые заплаты,
по заливу – паруса.

Гаснет тень от минарета.
Взявшись за руки, бредём.
И навзрыд смеётся лето,
поливая нас дождём.

РАЗЛАД

Звёзды под утро припухли.
Шорохи вязнут в тиши.
Ссорятся молча на кухне
две забубённых души.

Может, всего-то и надо:
просто друг другу помочь
вспомнить причину разлада,—
вдруг и закончится ночь?

...День в палисаднике вызрел.
Оба признали вину.
Вздых облегченья, как выстрел,
с треском порвал тишину.

ОТЪЕЗД

Поцелуи, прощальные речи:
«Как доедешь – письмо напиши!..»
По стакану – за скорую встречу
и для снятия камня с души.

Снисходительный взгляд проводницы:
мол, решать-то единственно ей –
дать возможность спокойно проститься
или поезд отправить скорей.

Что-то всё-таки не досказали,
что-то всё же недорешено...
Загрустило родными глазами
отъезжающее окно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ушла, сказав: «Неинтересно
пропасть с тоски во цвете лет...»
Остались стол, кровать, два кресла
и остывающий обед.

Волной обрушилась усталость,
и полумёртвое «Постой!..»
висеть бессмысленно осталось
в пространстве комнаты пустой.

...Вернулась.
Походя и мило
смахнула пыль минувших зим,
как будто просто выходила
минут на двадцать в магазин.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В мои заботы не вникала,
и я не лез в её дела.
Светила лампа вполнакала
на пограничный край стола.

Бокалы тренькали: «За встречу!»,
скучал на блюде апельсин.
Водой разбавленные речи
поспешно выбились из сил.

ДОЧЕРИ

Видишь, небо становится ближе?
И виднее, роднее звезда?
Та, которая будет всегда,
та, которую я уж не вижу.

Слышишь поле и речку, и рощу?
Замечаешь, что слух стал острее,
память пристальней, сердце добрей,
мысль ясней и прозрачней, и проще?

Это значит, полёт уже начат –
никому его не отменить.
Это значит, ты учишься жить,
человеком становишься, значит.

Тишина

Я был один в квартире
у зимнего окна.
В моём гранёном мире
царила тишина.

Снаружи безголосо
струился мёртвый свет.
Ни одного вопроса
с намёком на ответ.

Парило величаво
над вешалкой пальто.
И радио молчало.
И не звонил никто.

* * *

Кажется, я не умру никогда...
Речка дымится над вспаханным полем.
Вслед отступающим страхам и болям
смотрит насмешливо с неба звезда.

Ей говорю: «Не меня сохрани,
но береги без конца, год за годом
тех, кто с моим невесёлым уходом
могут пред миром остаться одни...»

Сорванный лист устремлён в никуда —
то ли падение, то ли паренье.
Дочка вишнёвое варит варенье...
Кажется, я не умру никогда.

* * *

Не добит ещё делами,
кое-что ещё могу –
в пёстром ворохе желаний
суечусь, кручусь, бегу...
Ухватившись за минуту,
где легко, а где с трудом
строго следую маршруту:
дом – работа – снова дом.

Ночь. Устав скакать и мчаться,
наподобие блохи,
под храпенье домочадцев
принимаюсь за стихи:
навожу на строчки глянец,
сортируя алфавит...
А под утро удивляюсь,
что делами не добит.

* * *

Пусть мне скажут, что я не такой,
что приметен в толпе городской,
что «махнул на святое рукой»,
что я этакий, даже сякой...

Разольюсь карамельной тоской
в невозвратный закат над рекой
и умру просветлённой строкой...
А иначе и жить-то на кой?

ДОРОГА

Не покидай, судьба, дорогу,
где каждый камешек знаком,
которой – к другу, к слову, к Богу –
шагаю с тощим рюкзаком;
где обочь – яблони да вишни,
где зыбок полог тишины,
где незатейливые вирши
мои кому-то да нужны.
Пускай над ней теснятся ветры,
пусть я усталый и в пыли,
её хромые километры,
доколе можно, дли и дли.
Не верь досужему совету –
мол, есть и лучшая тропа,
не покидай дорогу эту,
моя строптивая судьба.

* * *

Сколько отмеряно, так ли уж важно –
я не обижен судьбой.
В детстве запущенный голубь бумажный
тащит меня за собой.
Белое небо, земля голубая,
чередование дней.
Сердце тревожит дорога любая,
встреченный каждый на ней.
Я забираюсь на горные кручи,
лезу в колодцы без дна
И понимаю: какой я везучий –
жизнь мне Всевышним дана!
Ветром и солнцем спалённую кожей
чувствую соль бытия.
Знаю, что истинный промысел Божий –
это, отчасти, и я.

* * *

Всю-то жизнь мой отец слесарил,
почитая свой труд за честь.
Под руками его плясали
все металлы, что в мире есть.
Размечал заготовки, резал
и паял, и клепал – за грош.
И шутил:
– Я тебе из железа
чёрта сделаю, если хошь...

А теперь, как его не стало,
прихожу я с вопросом:
– Бать,
из какого, скажи, металла
мне для сердца броню склепать?
Видно, много на нём отметин –
так болит, что уж мочи нет...

Прошуршал над погостом ветер
и принёс мне отцов ответ:
– Ты, сынок, только с виду умный,
а на деле – совсем дурак.
Тех, кто ходит с плитой чугунной
вместо сердца, полно и так.
Ты подумай-ка головою:
с железякой в груди ты б смог?
А болит... Знать, оно живое,
и ты этим гордись, сынок...

* * *

Вырастая до прежнего роста,
человек возвращался с погоста.
Шли минуты,
и делалось легче,
расправлялись ладони и плечи,
возвращались дела и заботы,
воскресение шло за субботой.
Всё предельно понятно и просто:
человек возвращался с погоста.

ФОТОАЛЬБОМ

Дождь с восторгом встречен лужами –
вон как пенится вода...
У окна, насквозь простуженный,
ворошу свои года.

Здесь я очень-очень маленький.
Ах, как мама молода!
Дом с кирпичною завалинкой,
сад – в нём яблонь два ряда...

Школьный двор. Я чуть встревоженный
с гладиолусом в руке
и, как школьникам положено,
в новом сером пиджаке...

Старый дом, дождями стиранный,
вот с тобой прощаюсь я –
обзаводимся квартирою.
Вот и новые друзья...

Не успеть за жизнью мчащейся.
Стены техникума... Но
не прилежный я учащийся –
танцы, девушки, кино...

Вот с погонами сержантскими
в ладном воинском строю.
И готовы все сражаться мы,
все – за Родину свою.

Ведь она – одна пока у нас,
друг литовец, друг бульбаш,
Могилёв, Орёл и Каунас... –
весь Союз пока что наш...

Дальше, брызжа многоточьями,
покатились времена:
крах страны, рожденье дочери...
Быстро выросла она...

Как судьбу не перелистывай –
чем пытливей, тем больней...
Ветра свист, дорога мгlistая,
тень моя летит по ней...

Всё ещё бурлит и пенится
в лужах стылая вода...
Ах, судьба, годов ты пленница!..

Над дорогою звезда.

УБЕРЕГИ...

Убереги меня, судьба,
не от невзгод, не от болезней –
от суматохи бесполезной
и от позорного столба.

Не дай забыть своё родство,
чтоб не краснеть отцу и деду;
дай счастье знать, что я не предал
на этом свете никого.

Что все свои отдал долги,
что был не пасынком Отчизне...
От пустяковой, зряшной жизни,
судьба, меня убереги.



* * *

Как на дежурстве,
бодрясь через силу,
кажется: вот упадёт,
Время раздумчивым
центром России
тяжеловесно бредёт.
Здесь у мгновений
разбег черепаший,
в душах осенний покой.
Завтрашний день
повторяет вчерашний,—
на эти хаты, дороги и пашни
Время махнуло рукой.

РОДИНА

Дойдёшь до чёрного столба,
сверни направо:
твоя здесь скорбная судьба,
твоя держава.

Твой худо-бедный огород
в тени крапивы,
тебя заждались у ворот,
рыдая, ивы.

В лугах не кошена трава
четыре срока.
А мама?.. Всё ещё жива,
да одинока.

Ждёт обветшалая изба
тебя так долго.
Сверни у чёрного столба –
нет выше долга.

ДЕРЕВНЯ

Над деревней шелестят облака;
сквозь деревню пробегает века;
и речушка шириной в два плевка
за веками устремилась, легка.

Над речушкой сгнили брёвна – мосты;
по дворам полки крапивы густы;
все четырнадцать домов не пусты –
там бродячие ночуют коты.

Быстрокрылой тенью полоснул стриж
по конькам давным-давно худых крыш;
обречённо пискнула в стогумышь...
Снова мёртвая кругом тишь.

КОГДА-НИБУДЬ

Стало в городе постыло,
я подамся до села –
там жила прабабка Мила,
очень правильно жила.

А когда туда приеду,
как в насмешку над собой,
заведу за жизнь беседу
с покосившейся избой.

Мне расскажут половицы
про скрипучий свой недуг,
и ворчливо забранится
старый бабушкин сундук:

– До каких таких пределов
под замком добро стеречь!?.
И дымком заплесневелым
поперхнётся гулко печь.

И прабабушка к обеду
выйдет, памятью светла...
Я когда-нибудь приеду,
наплевав на все дела.

НА ПОКОСЕ

Отава изросью умыта.
из лога выплыла заря.
Литовка шикает сердито
на неумеху-косаря.

Срываю потную рубаху –
не деревенских я корней,
но я упрям, и с каждым взмахом
строка прокоса всё ровней.

Здоровье, вроде, не воловье,
а не устал за два часа –
шепчу старинное присловье:
«Коси, коса, пока роса!»

РЫБАК

С перегреву зарницами бредя,
день июльский отходит ко сну.
Напевая вполголоса, Федя,
размахнувшись, бросает блесну.

Котелок, закипая, дымится:
ох, ушица двойная густа!
Рыбы много пока в Моховице.
Федя знает такие места!..

Но не лезьте с расспросами к Феде –
пропадут понапрасну труды, –
он не слишком искусен в беседе,
любит молча сидеть у воды.

Сырость гасит его сигарету.
Федя, пристально глядя во тьму,
караулит бессонную реку...
Улыбаются звёзды ему.

* * *

Линялый август...
Встать до солнца,
когда ещё в ознобе сад,
и пересуды у колодца
вчерашние ещё висят;
набросив – так, на всякий случай, –
на плечи дедовский бушлат,
хрустя антоновкой пахучей,
пробраться мимо спящих хат
за край села, где по-над лугом
туман раскинулся ковром;
брести в нём, влажном и упругом,
на колокольчики коров;
ступить в дымящуюся реку
и плыть заре наперерез...
Каких же нужно человеку,
помимо этого, чудес?

БАБЬЕ ЛЕТО

Богом посланная милость –
тёплый солнечный денёк.
Это лето зацепилось
паутинкой за пенёк.

Продолжает труд тяжёлый
забубённая пчела.
Пацаны бегут из школы
на окраину села.

Промелькнут по косогору –
мимо пасеки, на брод.
А пескарь в такую пору
и на голый крюк берёт!

* * *

Я не люблю осенний лес,
как тайну, ставшую доступной.
Летевший летом до небес,
суровый, грозный, неподкупный,
теперь он выпотрошен, гол,
и не пугает старым лешим
худых берёзок частокол
на фоне выцветших проплешин.
И дуб, замшелый ветеран,
мельчает в воздухе провислом,—
так, с трона сброшенный, тиран
вдруг предстаёт больным и лысым.

* * *

Картина российского быта:
старуха с разбитым корытом,
старик тянет невод дырявый,
а рыбка грустит под корягой
о том, что со смерти поэта
два века прошло, но при этом
российского быта картина
всё та же – разор и рутина.

* * *

Надсадно выла автострада,
горячим выхлопом дыша,—
через шоссе валило стадо
размеренно и не спеша.

Тяжеловесны и угрюмы,
как будто спали на ходу,
коровы медленную думу
жевали, точно лебеду.

И снисходительная жалость
к людской извечной суете
в глазах косящих отражалась,
как в застоявшейся воде.

ГЛУБИНКА

Сдвинув в сторону плетень,
Бог поставил мету
из окрестных деревень
именно на эту.

В холода дворы тесней
прижимались к тыну,
отмирали по весне,
пережив годину.

Быт размерен,
у людей
вкусы простоваты:
сговорясь, в апрельский день
все белили хаты.

Дружно – вспашка,
дружно – сев,
и любой при деле.
Здесь и немцы, обрусев,
под гармошку пели.

* * *

Ивану Рыжову

В деревне Коровье Болото
совсем не осталось коров,
да и от деревни всего-то –
двенадцать замшелых дворов.

Воюет старик-долгожитель
с колодезным журавлём:
– Помрём-то когда же, скажите?
Ведь всё же когда-то помрём...

Горбятся крыши косые,
хребтами белеют плетни...
Храни, Вседержитель, Россию!
И эту деревню храни.

Ворожея

Ходили слухи, бабка ведьма:
мол, ей и сглазить – плюнуть раз.
Давно пора ей помереть бы,
да ведьмам слухи – не указ.

Вот и жила неторопливо,
мирясь со злобой языков,
и взглядом жгучее крапивы
стегала души земляков.

Скупа на ласковое слово,
копной волос белым бела
и подозрительно здорова...
До той поры, как померла.

С кончиной каверзной старухи
утихомирилась молва...
А на девятый день округе
хватать не стало волшебства.

Кузьмич

Картина ясная вполне:
запасы соли, спичек, мыла...
Соседка мрачно пошутила:
– Кузьмич готовится к войне...

«Кузьмич готовится к войне...»
Смешно. Он три прошёл когда-то,
и нет надёжнее солдата
ни в той, ни в этой стороне.

Ни в той, ни в этой стороне
не обходилась так судьбина
ни с кем: сперва лишила сына,
затем – поминки по жене...

Пять лет поминки по жене.
И зимы, что невыносимы.
И одиночеством гонимый,
Кузьмич бредёт, как в полусне.

Кузьмич бредёт, как в полусне,
туда, где люди, к рынку ОРСа.
А как не купишь, коль припёрся,
то, что доступно по цене?

А что доступно по цене?
Конечно, спички, соль и мыло...
Кузьмич соседке, что шутила,
отдаст всё это по весне.

СТРОЙКА

Домишко скромный –
стена в кирпич
полгода строил
старик Кузьмич.
Село ворчало:
не тот, мол, пыл,
у Кузьмича, мол,
не хватит сил,
ровесник века –
не совладать...
Кузьмич кумекал,
где тёс достать.
Залил фундамент
и начал класть
на камень камень,
перекрестясь.
Стропила, кровля –
не на авось.
Забил к Покрову
последний гвоздь.
Приладил двери
и вытер пот:
– Ну, кто не верил?
Глядите – вот...
Присел в сторонке
и вдруг... чихнул.
Как о приёмке
акт подмахнул.

СЛУЧАЙ

...На глупость сетуя свою,
стоял возница, мокр и зол.
А конь, попавший в полынью,
не шёл ко дну...
Никак не шёл!

Острее бритвы кромка льда
кромсала выпуклую грудь,
и чёрно-бурая вода
зияла, как последний путь.

А своеволие реки
влекло безудержно под лёд.
И говорили мужики:
– Такая сила пропадёт!..

Былины

Селеньице Былины.
Ухабы да бугры.
Здесь больше половины –
бесхозные двory.

Давно деревню эту
метлой житейских вьюг
развевало по свету,
не тронув лишь старух.

Куда пойдёшь от дома,
в котором прожил век,
где тишина знакома,
как близкий человек?

Не гаснут в хатах свечи,
блюдутся все посты.
До города – далече,
до неба – полверсты.

СТОРОЖ

Десять лет колхоза нету,
сад давно уже ничей.
Сторож ходит до рассвета,
он привык не спать ночей.

В ширину – шагов сто двадцать,
двести семьдесят – в длину.
Он не может отвлекаться
на бездельницу луну.

Перекурит за избушкой,
пристегнув себя к ружью,
и пугает колотушкой
тень горбатую свою.

ХОЗЯЙКА ЯБЛОНЕВОГО САДА

Много яблок по деревне.
только знают пацаны,
что у бабушки Андревны –
просто диво, как вкусны!

И поэтому, наверно,
успевает только треть
урожая у Андревны
окончательно созреть.

Шибко сердится Андревна –
мол, коту под хвост труды, –
собирая на варенье
уцелевшие плоды.

И который год, не знаю,
всё страшает пацанву:
– Вот ужо, кого споймаю –
ухи-т начисто сорву!..

А потом вздыхает глухо
и, беседуя со мной,
говорит:
– Дурна старуха –
нешто слопать всё одной?

АГРОНОМ

Может, вы о нём слышали,—
спорить не возьмусь,—
просыпался с петухами,
брился наизусть.
Ставил мерина в оглобли,
отводил плетень,
понукал – вороны глохли
за́ пять деревень.

Вдоль дорог стога мелькали,
ёжилась стерня,
впереди всходили дали
в свете трудодня.
Громыхая на ухабах,
вслед за ним неслоь
необъятного масштаба
бодрое «авось».

ХРАМ

Храм рождался тяжело,
туже истины.
Собиралось всё село
возле пристани.

И стучали молотки
лето целое.
Поднималось у реки
чудо белое.

В небеса взметнулся крест
ярким всполохом.
Долгожданный Благовест
грянул колокол!

СВАДЬБА

На два дома поделено счастье:
невзирая на серенький дождь,
шумно, весело едет венчаться
из обеих семей молодёжь!

Чинны сваты, задиристы сваты,
поцелуи по-русски – взасос,
на невесте шикарное платье,
море радости, толика слёз!..

Всё путём, по обычаям древним:
пир горой...
Да ведь речь не о том.
В этой, Богом забытой, деревне,
почитай, уже есть третий дом!

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Висели дома на высоких дымах –
отчаянно печи чадили в домах,
и в каждой четвёртой по счету печи
румянили к Пасхе бока куличи.
Клубился ванильный над крышами дух,
творились молитвы устами старух,
и вздох колокольный летел до небес,
и верили люди:
– Спаситель воскрес!..

Если о Руси

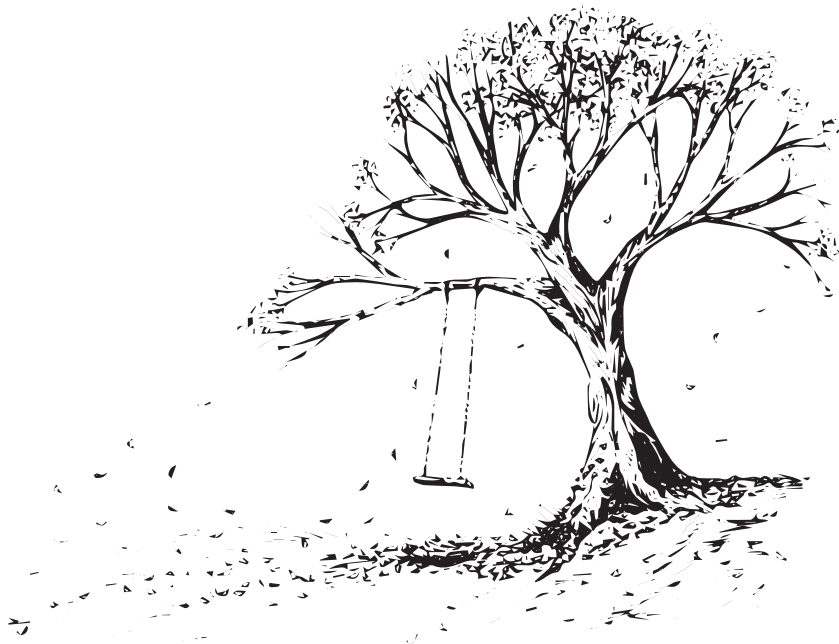
Если о Руси, как без поля
шириной не меньше Вселенной?
На Руси судьба – это доля,
каждый тащит крест тяжеленный.

Если о Руси, как без Бога?
Путь к нему долгонько топтали.
Веры сберегли пусть немного,
только та, что есть, крепче стали.

Если о Руси, как без песни?
Пой, душа, а я подыграю!
Если о Руси, как без «если»,
без «авось»,
без хаты, что с краю?

* * *

Родина любимей не становится
с добавленьем прожитых годов.
По моей судьбе промчалась конница –
глубоки отметины подков.
Выбоины тотчас же наполнила
светлая небесная слеза.
Сердце от рождения запомнило
Родины усталые глаза,
спрятанную в сумерках околицу
и дымки лохматые над ней...
Родина любимей не становится,
Родина становится нужней.



*Гуляя по территории детства.
Правдивые истории*





КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧУДА

Володька ждал чуда много лет. Зачем оно ему нужно, он не знал, как не знал и того, каким это чудо должно быть. Каждое событие в его жизни оценивалось по формуле «чудо – не чудо», и, можем вас заверить, критерии оценки были жёсткими. Достаточно сказать, что выигрыш в одной из многочисленных ныне лотерей пятидесяти тысяч рублей после всестороннего и глубокого рассмотрения чудом признан не был.

* * *

Родился и вырос Володька Метёлкин в семье, как принято считать, неполноценной. Отсутствие отца несильно угнетало здорового и бойкого мальчугана – его, отца, как бы и не было никогда, и даже в Володькиной метрике отчество было прописано по матери – Дарьевич. Детство Володьки едва ли можно было назвать безоблачным. Небо над его вечно лохматой головой частенько затягивалось тучами и извергало молнии, тщетно силясь попасть в вертлявую фигурку, снующую по грешной земле.

Мать учительствовала в городской школе и там же подрабатывала уборщицей. Постоянная занятость матери доходов больших семье не приносила, и из неё же проистекала такая безнадзорность, которой Володька пользовался в полную силу неуёмного воображения. Чего стоил один прыжок

с крыши трёхэтажной школы с парашютом собственного изготовления, который, конечно, не пожелал раскрываться. Последствиями подвига стали всего лишь строгий выговор в приказе по школе и слёзы матери.

Не пострадал Володька и во время традиционного весеннего катания на льдинах, когда две из них с глухим скрежетом сшиблись над ним, уже барахтавшимся в чёрной ледяной воде. Пробковым поплавком вынырнув в двадцати метрах от места трагедии, Володька бодро поплыл вразмашку к берегу. К потерям были отнесены шапка-ушанка, купленная матерью в начале зимы, и валенок такой старый, что оплакивать его было бы позорно. Да и шапка удостоилась слёз исключительно Дарьи Петровны. Впрочем, она плакала скорее о своей несчастной судьбе, покупившейся на отца для её ребёнка, а может, от радости за чудесное спасенье сына, который не схлопотал даже насморка... Их, женщин, не поймёшь, почему они часто плачут.

Вершиной детских приключений Володьки стало падение со стрелы башенного крана на строительстве моста через не шибко широкую в городе речку. Зачем он туда забрался, едва ли вспомнит теперь сам, но так или иначе, падая с тридцатиметровой высоты, Володька благополучно миновал все недостроенные конструкции моста и шлёпнулся напрямик в самое глубокое место реки, откуда спустя некоторое время всплыл ошарашенный, но вполне живой. Скажете, чудо? Нет. Мальчишеский максимализм Володьки Метёлкина чудес такого рода не признавал. Его чудо должно было быть особым, по-настоящему чудесным. И главное: оно должно было произойти обязательно.

* * *

Детство, расцвеченное полётами, и не только во сне, успешно завершилось. Ознаменовываясь редкими удачами на личном фронте и частыми успехами в труде, начиналась взрослая жизнь. Её начало в повествовании намеренно опускаем, поскольку ожидаемого чуда так и не случилось. Следует лишь сказать, что Владимир Дарьевич Метёлкин, несмотря на отсутствие в воспитательном процессе его личности твёрдой мужской руки, бандитом всё же не стал. А получился из него человек достаточно скромный в быту и талантливый инженер, перспективу роста способностей которого ограничивали лишь скромные возможности проектной организации, где Володька трудился.

Женился наш герой, когда на горизонте его жизни уже маячил сорокалетний юбилей. Скажете, поздно? Ответим: нет, ибо твёрдо уверены, что всё в этой жизни вовремя и в свой черёд, даже чудо. К чуду, конечно, можно приравнять настоящую любовь, тем более с первого взгляда, тем более свалившуюся на слегка поседевшую Володькину голову внезапно, как кирпич в чистом поле.

Было так. Вечерами, возвращаясь со службы, инженер Метёлкин заходил в продуктовый магазин, расположенный напротив пятиэтажного дома, где и проживал Владимир Дарьевич в обычной однокомнатной квартире со всеми возможными на данный период удобствами. Происходило это ежедневно, потому как запастись продуктами впрок Володька не умел – попросту не видел в этом смысла.

Однажды, расплатившись за кефир, сосиски и хлеб, он поднял глаза на кассиршу, которую видел уже тысячу раз. Он мог

легко узнать её по рукам, быстро и аккуратно считающим чужие деньги, но никогда не смотрел ей в глаза. А тут посмотрел...

Метёлкин не сразу понял, что погиб, сражён наповал стремительной лукавинкой карих глаз и тонкой улыбкой. Потом он ещё долго топтался по магазину, перебирая в кармане сдачу – монеты хранили шершавое тепло пальцев девушки. Он снова и снова возвращался в торговый зал и покупал ненужные дрожжи, ваниль, крабовые палочки. В четвёртый раз стоя в очереди к кассе, Метёлкин старался не смотреть на милое лицо кассирши, но не мог удержаться. Она коротко поглядывала на него, смешно хмурилась, заставляя Володькины глаза нырять в пол.

Подошла его очередь, и вместо того, чтобы протянуть деньги за приобретенные свечи для торта, Володька неожиданно для себя пробубнил:

– Выходите за меня замуж...

И наткнувшись блуждающим взглядом на табличку на груди девушки, добавил робко:

– Наталья Ивановна.

Поинтересоваться её семейным положением даже не пришло ему в голову. А может, и пришло, да он не успел.

Девушка просто сказала:

– Я согласна.

Дальше Метёлкин помнил только, что протяжно ныло сердце, в глазах сквозь туман вспыхивали букеты неестественно алых роз, руки жили совершенно отдельной жизнью – прагматик-мозг просто не знал, куда их деть...

Из магазина они возвращались поздно вечером вместе. А за свечи в тот день Володька так и не расплатился.

* * *

За год семейной жизни было всё: и яркая, не поддававшаяся разумным объяснениям страсть, и спокойное тепло от простого присутствия человека, ближе которого нет. Были и размолвки. Нет, не те, что принято называть скандалами – с яростным битъём посуды, криками «Ненавижу!» и хлопаньем дверей. Несерьёзно это. Настоящую боль приносят молчаливые ссоры, когда близкие люди до рассвета сидят на крохотной кухне в невообразимой дали друг от друга, страдая от непонимания своего, казалось бы, второго «я», от приходящего именно в такие моменты неумения объяснить свою правоту. Было, наконец, рождение дочки – крохотной Анютки, заявившей о своем существовании в семье поначалу капризным писком, а потом умильным и быстро ставшим привычным агуканьем.

Порядок вещей менялся, жизнь устаивалась и размеренно текла в нужном и единственно возможном русле. Все её коллизии по здравому размышлению воспринимались совершенно естественными, и чуда собой не являли.

* * *

Сорок первый Володькин день рождения отмечался в семейном кругу. Вечер был осиян ровным светом домашнего очага и оваян легкой грустью – года-то идут. А завтра – благо была суббота – сослуживцы зазвали Метёлкина на рыбалку. Рыбаком он не был, но был именинником, и следовало «проставиться».

Разбив лагерь на берегу отдалённой речушки, готовили снасти, жгли костёр, выпивали, как водится, за Володьки-

но здоровье, за клёв, за честную мужскую дружбу. Все друг друга уважали и допоздна вели задушевные беседы. Потом безмятежно спали в душных палатках, придавленных к земле звёздным июльским небом. Куцая летняя ночь пролетает быстро, и едва начало светать, протрезвевшие рыбаки уже пристраивались к своим удочкам, поёживаясь и позёвывая.

Володька стойко отсидел со всеми зорьку и даже поймал двух не слишком расторопных окуней. Дальше сидеть, глядя на впавший в спячку поплавок, было скучно, и, наказав то ли удочкам, то ли водным обитателям «ловись, рыбка большая и маленькая», Метёлкин отправился гулять по окрестностям. Поднявшись от реки на взгорок, он устало вытянулся на едва просохшей от росы траве. И так вдруг ему стало хорошо, как не было, наверное, никогда ещё в жизни.

Из прибрежных кустов доносились легкие шлепки снастей о воду и тихие возгласы рыбаков. Пахло мёдом, мятой и ещё чем-то, доселе неизвестным. Прямо перед носом, на ромашке, как на качелях, удовлетворенно урча, раскачивался полосатый шмель. А выше, невидимый, всё уверенней распевался жаворонок. А ещё выше – отчаянно синело небо, перечеркнутое белым расплывающимся следом сверхзвуковика. И всё вместе – обоняние, осязание, зрение, слух и что ещё там – сливалось в большое не квалифицированное наукой чувство: хорошо!

И чудо, то самое, которого Метёлкин ждал так долго и о котором стал уже забывать, произошло! Володька непонятно как оказался в кабине того, пролетавшего на страшной высоте, самолета, смотрел сверху во все глаза и видел!..

Видел жаворонка, зависшего в воздушном потоке; шмеля, одуревшего от цветочного запаха; себя, лежащего на

лугу, разбросав руки; своих друзей, брезентовыми холмиками застывших над удочками.

Видел доброе морщинистое лицо матери с приставленной к бровям сухой ладонью. Мать смотрела вверх, на Володьку, и глаза её слезились, должно быть, от взошедшего солнца.

Видел огромные молочно-синие глазищи дочери Анютки, начинающие заинтересованно присматриваться к окружающему миру; её судорожно стиснутые маленькие кулачки – в них зажато так много всего, в том числе и Володькина судьба.

Видел свою Наташку, заботливо склонившуюся над детской кроваткой: волосы тяжело рассыпались по плечам, в свободном вырезе ночной сорочки упруго белеет грудь. Не та женская грудь, вид которой делает из мужчины вождя-ленного самца, а та, трогательная до пощипывания в носу, что рождает высокое чувство ответственности, готовность не раздумывая броситься на её защиту грудью собственной...

Володька парил в небе, не уклоняясь от летящих навстречу облаков, и вдохновенно орал:

– Вот же!.. Вот же оно!..

И, наверное, это оно и было. Его, Володькино, особенное чудо – его жизнь!



РЕАЛИЗМ

Никита Куренцов, одарённый молодой живописец, расположился на высоком берегу речушки, имени которой не знал, да, собственно, и не заботился этим. За рекой, неожиданно выныривая из прибрежного ракушняка, вытянутый зигзаг дороги бежал к белёной церковке и, миновав её, безрассудно пропадал в сосняке. Луг по сторонам дороги был припорошен ромашками.

Художник кропотливо выписывал церковный купол, возвышающийся над лесом, когда услышал за своей спиной лёгкий вздох.

В сторонке стоял мальчик лет семи. Обычный деревенский пацан: замурзанные штаны, непонятного цвета майка с портретом Че Гевары, соломенные от солнца волосы, облупленный нос и уши врастопырку. В рыжих глазах боязливый интерес.

– Привет, – улыбнулся Никита.

В ответ мальчуган суетливо клюнул носом, который тут же и утёр указательным пальцем.

Никита продолжил работу. Более тесного знакомства он не желал – любил и ценил одиночество, но и против присутствия мальчика не возражал: постоит, посмотрит да и ускачет по неотложным мальчишеским делам.

Однако парнишка не собирался уходить. Наоборот, вроде, приближался, не отрывая настороженного взгляда от изображения на холсте.

– А это что у вас? – осмелев, он ткнул смуглым пальцем в полотно.

– Разве не видишь, небо.

– Небо-то вижу, – нетерпеливо отмахнулся пацан. – А вот это, на небе?

– Облака.

Мальчик медленно перевёл взгляд с нарисованного неба на настоящее, подумал-подумал и изрёк:

– Но их же нету.

– Нету, – весело согласился Никита. – Это художественный вымысел. Церковный купол на фоне облаков смотрится лучше. Он как бы являет собой надежду среди туч...

– А сколько окошек в церкви? – мальчишку мало интересовали объяснения живописца.

Никита посмотрел на холст и ответил:

– Три.

– А у нас пять! – победно заорал пацан. – Вот поглядите: они все отсюда видны. Раз, два, три, четыре, пять!

Художник досадливо поморщился – незваный помощник начинал докучать.

На дороге, ведущей мимо церкви к лесу, показались трое ребят с корзинками. Позади трусила собачонка.

Никита, мгновенно оценив ситуацию, быстрыми движениями кисти схватил силуэт живописной группки, отмечая про себя, что мучительно думает: как бы подростков на холсте не оказалось двое или четверо вместо троих. Он даже сморгнул и ещё раз пересчитал удаляющиеся фигуры.

Пацан, по вихрастую макушку погружённый в творческий процесс, появление новых деталей увидел только на картине, указал на собаку и понимающе заметил:

– Заяц. Художественный умысел.

– Мальчик, – Никита старался говорить ласково. – Тебе, наверное, пора обедать. Мамка, небось, беспокоится.

– Да не. Мать в поле, а есть я ещё не хочу... – начал мальчуган и поперхнулся, взглянув поверх мольберта.

Голосом, севшим от негодования, он прошелестел:

– Это же СОБАКА! Петькина Жучка! И сам Петька с Ленкой и Веркой. А вы...

Пацан выглядел обиженным и обескураженным, он отступил от этюдника, но не ушёл, а глядел на художника с весьма выразительным укором.

«С какой стати я должен раздражаться из-за какого-то сопливого мальчишки?» – спрашивал себя Никита. Он перестал обращать на мальчика внимание, а вскоре и вовсе забыл о его существовании. Вдохновение вернулось. Живописца вновь заполнили небо, река, луг...

Закончив работу, Никита прилёг на склон и смотрел, как быстrokрылые деревенские ласточки таранят белесое небо. Задумавшись, он не сразу сообразил, кто это громко сопит неподалёку. А вспомнив про своего юного приятеля, приподнялся на локтях и посмотрел в ту сторону, где оставил этюдник.

Пацан стоял перед треногой с водружённой на неё картиной и самозабвенно ковырял пальцем краплак красный. Один большой шаг сделал Никита к этюднику, и кулаки его судорожно сжались.

Мальчишка пальцем заканчивал выводить в левом нижнем углу картины «КОЛЯ». Крупно. Сочно.

– А ну!.. – задохнулся Никита.

Застигнутый врасплох Коля резво отпрыгнул в сторону и округлил моментально отсыревшие глаза. Шмыгнул но-

сом и привычно мазанул по нему рукой, «окровавленной» краской, – нос тотчас тоже сделался «кровавым». Выглядел парень, как побеждённый в драке: расквашенный нос, испуганные мокрые глаза, опущенные плечи.

Деревенские мальчишки, не признающие компромиссов и всем сердцем презирающие трусов, не сдаются никогда. Коля пребывал в неопределенности лишь мгновение. Наохлившись, как молодой петушок, он бросился в контра-таку. Ему, наверное, так показалось. На самом деле он начал пятиться, быстро стреляя словами:

– А чего я сделал-то!? Всё равно картина плохая! И собак таких, похожих на зайца, у нас нету! И небо... Врёте вы всё! А ещё художник!..

Оставив за собой последнее слово и испорченную картину, как отмщение за оболганную Петькину Жучку, мальчишка припустил по склону к реке.

Молодой художник Никита Куренцов остался один размышлять о реализме в изобразительном искусстве.



ДУШЕГУБ

«Колюх-Душегуб» – так за глаза звали сельчане молчаливого сорокалетнего мужика из кривой хаты на отшибе. Когда он появился в деревне, точно не мог сказать никто. Порой казалось, что он жил здесь всегда – даже до бабки Настасьи, которой уже почти сто. Вроде Колюх был немым, хотя некоторые утверждали, будто раньше он разговаривал. Во всяком случае, слышал мужик отменно и всё понимал – тут уж сомнений быть не могло.

Жил Колюх полным отшельником, в дом к себе никого не пускал, да и не было желающих набиваться к нему в приюты. Занимался тем, что резал из липы ложки, ковшики и прочую хозяйственную утварь. Поделки свои разносил по соседям: зайдёт в хату, положит на сундук у дверей, постоит с минуту и уйдёт. Если что-то давали взамен – брал, нет – и так ладно.

А смежной профессией у Колюха был убой различной домашней животины. Вся деревня шла к нему с этой надобностью. Даже те, кто без обмороков и желудочных коллик сами легко могли оторвать курью башку, предпочитали не брать лишний раз грех на душу и несли скотинку к местному забойщику-любителю.

Колюх никогда никому не отказывал, лишь пасмурно усмехался в клочковатую бороду. Не говорил он и цену за свою кровавую работу – каждый от себя решал, чего и сколько дать.

Только Басов, гаишный начальник из райцентра, не имел с Колюхом никаких дел. Лет десять тому Басов выкупил у Самойлихи, увезённой дочкой в город «для уплотнения

жилплощади», домик в этой деревне и поселил в нём старушку мать. А на лето привозил и жену с сыном.

Гаишник презирал Колюха и открыто называл его живодёром, на что тот недобро щурился и по-волчиному скалил удивительно белые и ровные зубы.

На забой более крупной скотины – овец, свиней, коров, а порой и лошадей – Колюх ходил сам, прихватив неизменный свой отточенный тесак. А мелочь всякую – кур, гусей, кроликов и коз – принимал на своём дворе. Птицу бил Колюх красиво, споро – иной раз по два десятка к ряду. В сезон к его подворью выстраивалась очередь. Неподалеку от его крыльца врос в землю огромный кленовый пенёк овальной формы, от частого употребления кругло выщербленный в середке, рядом – продолговатое долблёное корыто, для стока крови.

Деревенская ребятня, собираясь летними вечерами на посиделки, пугала друг дружку рассказами, будто Душегуб в этакую убойную пору по ночам пьёт кровь из своего корыта, а потом ходит по деревне от дома к дому и заглядывает в тёмные окна. Говорили, что видели, как он на утренней зорьке лазает с примитивной острогой по мелководному пруду, а добытых карасей пожирает сырьём и лягухами закусывает... Много ещё чего говорили.

Случалось, сам Колюх вдруг бесшумно появлялся из темноты возле усевшихся вокруг магнитофона подростков, присаживался в сторонке на корточки и молчал. Хорохорясь друг перед другом, ребята не разбегались в страхе, только девчонки тесней прижимались к парням, да тема разговора менялась.

Как и в любой русской деревне, в этой тоже имелся свой дурачок. Славилу было уже под тридцать, но, вот беда,

застрял малый в развитии где-то на десяти-двенадцати годах. Славик целыми днями бродил по селу и окрестностям, появляясь то тут, то там. В один из своих наездов в деревню гаишник Басов презентовал бедолаге потёртый милицейский китель с подполковничьими погонами, и теперь местный дурачок, мня себя чуть ли не начальником МУРа, проводил бесконечные расследования пригрезившихся ему преступлений. В кителе он, наверное, даже спал.

В ребячьих посиделках Славик принимал непременно участие.

– Ну как, Славик, жизнь-то? – спрашивал гаишный сынок, пятнадцатилетний Пашка.

– Так чего ж, работаем, – отвечал дурачок, любовно поглаживая прицепленный на китель парашютный значок. – И не Славик я, а оперуполномоченный полковник города Болхова. У меня кабинет, знаешь, какой? И машина сто первая!

– Что-то я каждое лето приезжаю – ты всё без дела болтаешься. А говоришь, работаешь.

– А я... это... – терялся Славик.

– В отпуске? – подсказывала одна из девчонок.

– Точно! – дурачок расплывался в блаженной улыбке.

– Славик, ты – придурок, – безжалостно разъяснял милицейский сынок. – Тебе наполеонову шапку дай – ты императором будешь.

– Чевой-то императором, – обижался Славик. – А у него какая шапка?

– Ну всё, достал. Вали отсюда, выродок. Иди бандитов лови. – Пашка лениво плевал в сторону блажного.

Неподалёку на корточках сидел Колюх-Душегуб и по обыкновению мрачно улыбался...

* * *

Весной Колюх подобрал котёнка. Котёнок был крохотный и дикий, жил в подвале сельмага и в руки никому не давался – если кто к нему приближался, шипел, фырчал, выгибал спину, будто пытаясь прикинуться маленьким однопорбным верблюдом, и исчезал в подвальных закоулках.

Однажды котёнок зачем-то сунулся в приоткрытую дверь магазина, но тут кто-то из покупателей стал заходить следом. Напуганный зверёк метнулся обратно и... почти успел выскочить. Не успела одна из задних лап – тугая пружина швырнула на неё стальную дверь.

Несколько дней прошло, прежде чем котёнок снова стал появляться в подвальном окошке. Он вконец истощал, а раненая лапка волоклась за ним окровавленным ошмётком.

Тут-то и заметил беднягу Душегуб, принесший в сельмаг свои деревянные товары.

Со спокойным упорством Колюх два дня охотился на котёнка. И подловил момент, когда оголодавший зверёныш залез с головой в целлофановый пакет с килькой, вынесенный сердобольной продавщицей. Душегуб просто подошёл и за хвост поднял котёнка вместе с пакетом. Тот, попав в человеческие руки, разом обмяк, обвис всеми конечностями, будто притворился мёртвым.

Колюх сунул кошака за пазуху и ушёл домой...

* * *

Выходил Душегуб котёнка. Полтора месяца выхаживал и выходил. Бабка Настасья, сама известная травница, рассказывала, что ненароком видела, как Колюх пожуёт-пожуёт какую-то незнакомую травку и приматывает её тряпицей к котовой лапке. А сам зверёк, будто понимает, что его врачуют, висит в Колюховых лапищах, как пакля – не пискнет, не дёрнется.

К июлю котик был, как новый: округлился, распушился – усы топорщит, хвостом метёт. Только глаз недобрый – жёлтый, с лёгкой косинкой, и лапка раненая шерстью не обрастает – лысая. Признавал, понятно, одного Колюха – ластился к нему, мурчал. От других бегал и прятался. Осторожный был котёнок, да не уберётся...

Возвращался как-то Колюх с луга, куда по непонятным делам своим ходил, и поодаль Настасьиной избы уже шёл, как заметил неправильное, необычное: что-то пацаны у бабкиного плетня крутятся, не иначе пакость какую затеяли.

Неправильного, по мнению Колюха, в этом мире было много, и в другой раз прошёл бы он мимо, но тут развернуло посмотреть, разобраться...

Главным в компании был милицейский Пашка – он и двое ребят помельче азартно расстреливали из пневматического пистолета Колюхова кошака, привязанного за лапу к плетню. Котёнок молча дёргался, прыгал в сторону, но верёвка бросала его назад, а крошечные стальные пульки взбивали пыль под его лапами и ерошили кошачью шерсть. Стрелки были неумелые, убойная сила оружия слабая, и только поэтому котёнок был ещё жив.

Пашка наверняка выцеливал притихшую вдруг жертву, когда полновесная затрещина свалила его носом в лопухи. Его приспешники, пригибаясь, прыснули в разные стороны.

Колюх подобрал пистолет, не глядя, разломил его надвое, будто пластмассовую игрушку, и забросил обломки подале. Потом склонился над своим израненным питомцем.

Кошки, говорят, имеют девять жизней, но этого котёнка уже было не спасти никакими, даже самыми чародейными, травами. Он истекал кровью, перебитые лапы мёртво висели. Кошак пытался поднять голову, немо, по-рыбьи, открывал пасть, будто что-то хотел сказать Колюху, которого в деревне звали Душегубом...

* * *

Арестовывали Колюха всемером. Восьмым примазался было блажной Славик, которого впопыхах приняли за высокое начальство, но быстро разобрались и прогнали, надавав тумачков. Даже погон оторвали.

Когда оперативники вломились в хату, Колюх ладил липовый гробик для котёнка.

– Так-так, – сказал сержант, разглядывая Колюхов рабочий тесак с засохшими пятнами крови. – За ним, может, и посерьёзней дела имеются...

В суде Пашкины дружки показали, что избивал Душегуб парня ни за что, долго и жестоко. Вдобавок милицкий папаша принёс ворох медицинских справок, из коих, если их объединить в одну, следовало, что травмы, полученные его сыночком, несовместимы с жизнью, и, вообще, выжил Пашка чудом.

Пригласили на заседание и ещё одного свидетеля – бабушку Настасью, которая, как оказалось, видела из своего окошка всё происходящее у плетня.

– Вы видели, как подсудимый избивал потерпевшего? – спросила у неё строгая судья.

– Колюх-то? – переспросила напуганная принятием присяги и, вообще, официальностью обстановки бабка. – Конечно, сунул мальцу по тыльнику разик... может, два...

Сам Колюх в суде ни слова не сказал. И отправился по этапу...

* * *

Прошло пять лет. Колюх в деревню больше не вернулся. Говорят, порешили его в зоне уголовники. Да, наверное, врут.

А я думаю, не тот Колюх человек, чтобы дать себя за здорово живёшь жизни лишить. Просто уехал куда-нибудь, не захотел вернуться в эту деревню. Пусть им кур теперь Пашка режет.



К БАБКЕ НЕ ХОДИ

Вкрадчивый стук в дверь не насторожил Александра Ивановича. Не отрываясь от бумаг, разложенных на столе, он устало бросил:

– Войдите.

* * *

Всего третью неделю молодой агроном Силаев исполнял обязанности главы сельской администрации – председателя сельсовета, по-старому, – но уже совершенно выбился из сил.

Всё началось в конце июня, когда «сверху» пришло распоряжение с обычной в таких случаях текстовкой: «в связи... освободить от занимаемой должности... в целях... назначить...» и так далее. Никто даже не поинтересовался, согласен ли он, справится ли.

А теперь... Сенокосная пора пролетала с космической скоростью, сроки были упущены, две недели небеса без перерыва низвергали дождь на несчастную силаевскую голову и подведомственные ей уголья. Первый «сухой» денёк выдался лишь сегодня, но когда-то ещё провянет напитавшаяся водой чернозёмная округа...

* * *

Дверь открылась широко, явно соперничая с широкой улыбки вошедшего человека. Вид он имел, по меньшей мере, необычный. Лет шестидесяти, но моложавый. Сразу под жёстким седым ёжиком волос – кустистые брови, диким мхом нависающие над колкими глазами, стремительно сную-

щими по лицу, то и дело норовя перескочить забор переносья и слиться в одно большое магнетическое око. Одет незнакомец был в застиранную серую куртку, которую по груди, на манер португеи, перепоясывал широкий ремень спортивной сумки. Старомодные джинсы подвёрнуты до колен, ноги босые и грязные, сандалии жёлтой кожи приторочены к сумке.

– Здравствуйте, – не сужая улыбки, посетитель размашисто шагнул к столу. – Вот. Нелегко к вам добраться, ох, нелегко, Александр Иванович. Дороги-то развезло, так я – напрямки. Идёшь, красотища вокруг – Русь, простор! Завидую вам, Александр Иванович, белой завистью завидую! В таких местах живёте!

Силаев слушал, не решаясь перебить этого восторженного человека. Дело было к вечеру, и глава уже так устал, что даже не удивился ни появлению странного ходока, ни тому, что совершенно незнакомому человеку известны его имя-отчество. Не прояснялась пока и цель визита гражданина.

Быстроглазый товарищ вёл себя совершенно по-хозяйски: шлёпнул на стол свою сумку (сандалии при этом звучно чмокнули подмётками, будто в ладоши хлопнули), ухватил стул, развернул его и прочно уселся верхом, скрестив чумазы лодыжки.

– В каком краю живём, Александр Иванович! Святая земля! Мы же с вами самые богатые в мире люди! Так неужели мы не хотим жить лучше?

– А в чём, собственно...

– Вот! Вот именно, к делу!

Посетитель резво вскочил на ноги, порылся в объёмистой сумке, выудил толстую розовую папку и тут же углу-

бился в изучение её содержимого, будто выключился на время.

Посидев с минуту молча, Силаев кашлянул:

– Простите, товарищ... э...

– Шипунов Евгений Олегович, – быстро включился посетитель и без паузы продолжил: – Возвращаясь к нашему вопросу, имею сказать следующее... Вы русский, Александр Иваныч?

– Русский.

– Очень хорошо, – обрадовался Шипунов. – Так кому же, как не нам, русичам, радеть о благе земли отцов наших?

Евгений Олегович патетично воздел руки к потолку, а Силаев поспешно согласился:

– Некому.

– Суть вопроса, – тон Шипунова стал деловым. – Так вот. Узнаёте?

Он выдернул из папки ксерокопию какой-то схемы и подвинул её к Силаеву.

– Нет, – честно признался молодой глава, покрутив бумажку так и сяк. – Что-то, вроде, напоминает...

– Ну как вам не стыдно, Александр Иваныч! Это же план территории вашей администрации!

Силаев быстро взглянул на стену, где висела карта его владений, сравнил её с ксерокопией и устыдился. Не очень, но похоже. Как он мог не узнать? Вот же населённые пункты обозначены, дороги, речушка...

– Вы, я вижу, человек образованный, – вещал Шипунов. – Я-то сам два института закончил. Так что в серьёзности моих намерений не сомневайтесь – это к бабке не ходи.

– К какой бабке? – не понял глава.

– Так, присказка... Вы знаете страну Швейцарию, Александр Иванович? Правильно, маленькая такая страна. С нашу область размером. А о том, что там самый высокий уровень жизни, знаете? Казалось бы, не государство, а так – фитюлька, с чего бы у них этот самый уровень? Тяжёлого машиностроения – нет, полезных ископаемых – откуда? Даже земледелие на нуле – горы да луга. А как же уровень? Я вам отвечу. Туризм! Туризм – к бабке не ходи!

Странный посетитель так возбудился, что уже бегал по тесному кабинету, стуча босыми пятками и размахивая руками.

– Теперь вернёмся к нашим, извините, баранам. Чем мы хуже этой Швейцарии? Ничем не хуже, а, я вам скажу, лучше! У них что? Горные лыжи да солнечные ванны – и всё. А у нас, как я уже говорил, места святые, чудодейственные места! Вот, поглядите, – Шипунов вернулся к своей ксерокопии, – на территории одной только вашей администрации целых два святых источника!.. Здесь и здесь – крестиками отмечены... В районе их семь! А в целом по области – пятнадцать! Если считать маленькие. Вот.

На стол легла ксерокопия побольше, областная.

– Если их линией соединить... вот так... Что получается, видите? Православный наш получается крест! Думаете, проста? Не-е-т!...

– Так-так, и что? – заинтересованно спросил Силаев. Ему никогда не приходило в голову считать святые источники и уж тем более соединять их на карте – слышать слышал про такие, про то, что туда временами съезжаются какие-то паломники, тоже знал, но беспорядков от них никогда

не случилось, и внимание на сей факт обращать, пожалуй, не стоило. Теперь же дважды образованный посетитель поворачивал дело в религиозную сторону, а Силаев, хотя и был не очень-то верующим, понимал, что к вопросам религии сейчас следует относиться осторожно.

– А то, что пора поднимать народ с колен! Наша область – уникальнейшая в мире, Богом избранная страна! Да-да, именно страна, и она вполне может содержать себя и, более того, процветать! За счёт чего, спросите? Да благодаря туризму же! Нет, не завтра, конечно, – большая предстоит работа, но уже послезавтра к нам хлынут толпы паломников со всего света – к бабке не ходи!..

Шипунов откинулся на стуле и мечтательно зажмурил глаза.

Возникла тягучая пауза. Отчаянно стучала башкой в стекло большая чёрная муха. Слышалось, как тонко позванивали в шипуновской голове радужные грёзы. Глава сельской администрации нервно постукивал карандашом по столу, недоумевая, почему он ещё не выгнал сумасбродного товарища.

– Ну хорошо, а почему вы ко мне-то? – нарушил наконец тишину Силаев. – Вам, наверное, в район или даже в область надо.

– Рекламку пустим, – витая в облаках, бормотал между тем Шипунов. – Особо и врать-то не придётся. А и приврать – грех невеликий. Какое дело сделаем!..

Включался он так же неожиданно и мгновенно, как и улетал в небеса:

– Дорогой мой Александр Иванович, конечно, надо к губернатору, но откуда ж начинать-то, если не с низов?

У соседа вашего я вчера был. Поняли, поддерживают. Вместе мы – сила!.. Я ещё с народом поговорить хочу.

– Погодите-погодите, это сейчас вам собрать народ? – заволновался неопытный глава. – Боюсь, не получится...

– Получится, – лучезарно улыбнулся Шипунов. – Я по пути к вам в контору прошёлся по посёлку и пригласил людей подойти к девяти часам... Слышите? Народ-то уже, пожалуй, собрался. Хороший у нас с вами, Александр Иванович, народ!

За стенами конторы и вправду слышались голоса. Силаев тяжело встал из-за стола, прихлопнул широкой ладонью уставшую уже муху и со вздохом посмотрел в окно.

На полянке перед зданием сельской администрации собралось человек двадцать сельчан самого разного возраста – от шкодливого пацана Васьки до деда Никитича, слышшего в селе чудачком. Они переговаривались по-деревенски, не снижая голоса, перебрасываясь нехитрыми шуточками.

– Иванович, – донеслось «из народа» при появлении в окне главы. – Правда, что ль, курорт у нас делать будут?...

* * *

Шипунов выступал перед жителями села минут сорок. Всё это время глава, будто загипнотизированный, стоял на крыльце и напряжённо всматривался в лица односельчан. Умного городского человека слушали молча, внимательно, вопросов не задавали.

Когда Шипунов закончил речь словами о бабке, к которой не ходи, народ улыбнулся, подождал чуть-чуть и зашумел.

– А ведь верно дядька говорит! – кричал здоровенный рыжий малый, явившийся на сход почему-то с вила-

ми. – Чем мы хуже? Мы что – негры? Хватит, покопались в грязи!

Он со всего размаху вонзил вилы в землю, будто винтовку со штыком, и продолжал орать:

– Туризмом будем жить! Я, к примеру, могу бар держать! Что, не смогу, что ль?

– Да, ты сможешь, – едко отвечала ему молодуха с козой на верёвке. – Ты, Колька, сам в своём баре весь продукт и пожрёшь, туристам нечего наливать-то будет. Уж ежели кому бар давать, так это Савостихе. У ней патент на производство имеется – почитай, со всей округи мужики отовариваются.

Старая Савостиха, услышав своё имя, приложила сморщенную ладонь к уху и проскрежетала:

– Чевой-то лехтор говорит?

– А ничего не говорит, он уже всё сказал. К бабке, говорит, не ходи – в бар за самогонкой ходи.

– Нету, нету самогону, – привычно заохала-заволновалась Савостиха. – Наговоры всё. Годов двадцать уж не варю, как участковый оштрафовал...

Мальцу Ваське надоело бездейственно топтаться, он залез на забор, сорвал с себя рубаху и стал вопить:

– Даёшь Швейцарию! Гитлер капут!

С забора баламута сдёрнули, но наказать не успели – умчался с гиканьем в луга. Бурное обсуждение продолжилось.

Энтузиаст идеи, приобняв за плечо обалдевшего Силаева, с высокого крыльца глядел счастливым отеческим взором.

Видя, что прения затягиваются и вообще выходят из-под контроля, глава всё же очнулся, выступил вперёд и гаркнул:

– Тихо! На гулянках будете кости друг другу перемы-
вать, а здесь – не балуй! Никитич, ты что скажешь? – обра-
тился Силаев к старику в рыжей болоньевой куртке – за три
недели своего правления он успел оценить дельность иных
бормотаний чудаковатого ветерана.

Никитич переложил клюку из правой руки в левую, ста-
щил с головы картуз и вытер им сухой морщинистый рот.
Сельчане следили, затаив дыхание.

Старик откашлялся и тихо, себе под нос, сказал:

– Хлебушек надо сеить... Пропадём без хлебушка-то...

Он тяжело и долго посмотрел вбок, в поле, где уже на-
ливался живой силой молодой колос...

* * *

Поздно вечером, когда вдоволь наговорившиеся сель-
ские труженики разошлись по домам глядеть в телевизорах,
как «Аншлаг» колбасится по Волге-матушке, а несгибае-
мый радетель отечественного туризма отправился на постой
к Савостихе, Силаев позвонил главе соседней сельской ад-
министрации и рассказал о сегодняшнем визитёре.

– Сашка, он что, у тебя!?! – недослушав, кричал сосед. –
Гони этого проходимца в шею! Он вчера у меня был, так сегодня
народ на работу не вышел – в Лихтенштейн хотят, понимаешь!..

– В Швейцарию, – поправил Силаев.

– Один хрен. Нам с тобой работать надо, о туризме пу-
скай в столицах думают! А источники наши на то и святые,
что грех за деньги их продавать...

Силаев аккуратно положил трубку на рычаг и подумал:
«Пропадём без хлебушка – к бабке не ходи!»

МОГИЛА

К середине сентября Белка занедужила, а двадцать четвёртого утром околела. Как лежала последние дни, не поднимаясь, возле печки, так и сдохла. Белка была стара, как сам Никитич, но старик всегда думал, что помрёт первым, и сильно переживал: как же собака останется без него, одна. И вот...

Никитич долго и бездумно сидел на низенькой табуретке перед собачьим трупом. Сам не заметил, как задремал, – просто выпал на время из пространства и всё.

Очнувшись, маятно топтался по горнице, шаркая по некрашеным половицам стоптанными ботинками. Таким кружным манером Никитич добрался до чулана и, откинув тяжеленную крышку дедовского сундука, стал перебирать хранящийся там скарб. Бережно доставал свадебный свой костюм, женины платья и кофточки, невесть как затесавшись в старый сундук почти новые современные джинсы внука Вовки. Вещи Никитич разворачивал, долго и придиричиво оглядывал, вдыхая нафталиновый дух, снова сворачивал и складывал аккуратной стопкой на стоявшую рядом лавку. Почти на самом дне лежала шинель, в которой с войны вернулся. Тогда, в июле сорок пятого, их роту только переобмундировали, а через неделю приказ: по домам. В дороге из далёкой Австрии шинель маленько, конечно, изнасилась, истёрлась по теплушкам да попуткам, но, следующие полсотни лет пролежав в сундуке крепко пронафталиненной, была теперь точно новая.

В горнице Никитич встряхнул шинель, подумав немного, срезал острым ножом подрастерявшие былой блеск «гербо-

вые» пуговицы и ссыпал их в карман штанов. Сержантские погоны трогать не стал. Он завернул в шинель закоченевшую уже Белку и, ступая осторожно и тяжело, понёс её в сад...

* * *

Никитич взял Белку озорным полуторамесячным кутёнком у Славки-охотника с той стороны деревни. Сколь лет-то прошло? Пятнадцать? Нет, семнадцать. Как раз в сентябре это было, полгода спустя как похоронил жену. Сын Серёга тогда уже работал в городе и домой навещался нечасто, а Никитич вдруг затосковал, невмоготу стало без живой души рядом...

* * *

Положив Белку на пригорке промеж двух яблонь, старик вернулся к сараю за лопатой. Долго громыхал садовым инвентарём, переставляя с места на место стоявшие вдоль стены грабли, вилы, тяпки, поправлял висевшую тут же никчемную теперь конскую сбрую – лошади в его хозяйстве не было почитай лет тридцать. Наконец выбрал подходящую лопату и вдруг всполошился, заторопился к оставленной без присмотра Белке.

Постояв немного, слезливо глядя вдаль, Никитич разметил контур могилы и неторопливо начал копать. Усталое сентябрьское солнце, взобравшись на вершину своей горы, вконец обессилело и стремительно покатилося вниз, к горизонту, будто стремясь быстрее достичь края Земли и сбегать куда-нибудь в Америку...

* * *

Когда Серёга с молодой женой перебрался из общежития в отдельную двухкомнатную квартиру, выделенную заводом, он звал Никитича в город, говорил:

– Что ж ты, батя, будешь тут один, как сыч, жить? Посмотри, от деревни ничего не осталось – все теперь в городе. Цивилизация, прогресс... На месте не стоим...

– Не поеду, – отрезал Никитич. – Куда от своих могил? Аннушка, мамка твоя, здесь, мои мать, да дед с бабкой... И не один я – у меня, вон, Белка теперь есть. А ещё, вишь, там, за ручьём, Макариха с Дашкой Марусиной живут, не делись никуда. Да и Славка-охотник неделями в хате старой своей... А ты говоришь...

В следующий приезд Серёга пригрозил отцу увезти его силой. Никитич только пуще заупрямился, обиделся. Потом у сына родился свой сын, приезжать Серёга стал ещё реже – некогда, забот прибывло, стало не до капризного старика...

* * *

Копал Никитич усердно, истово, как молился. Поверху попадались толстые корни, перерубать их лопатой у старика не было сил. Тогда он становился на колени и отчаянно тюкал пружинистые деревяки топором. И снова вгрызался в землю, вспоминая, сколько перелопатил её родимой на войне, отрывая всяческие сапёрные коммуникации и укрытия, копая другие могилы, чаще братские.

Поначалу края ямы не слушались, норовили осыпаться, но потом пошла глина, и могила стала обретать чёткие прямоугольные очертания, становилась глубже и шире. Ни-

китич, сам того не желая, копал могилу под размер человеческого, а не собачий.

Ровняя лопатой глинозёмные стенки, он вдруг обнаружил, что яма глубиной ему уже выше пояса. Тут Никитич понял, как сильно он устал, и присел на корточки в углу могилы. Он даже не почувствовал, как земля с рыхлых краёв потекла за ворот.

Приятно пахло сырой землёй. Никитич сидел, с несвёлым интересом глядя на снующих вокруг измочаленного топором яблоневого корня муравьишек. Мураши думали, что заняты каким-то важным и ответственным трудом, а на самом деле – так, суетились, таская туда-сюда свои бледные яйца из порушенного муравейника. Так и люди: мыкаются по свету, бегут куда-то, подгоняемые то радостью, то бедой...

Никитич уснул – голова его мотнулась на ослабевшейшее и упёрлась в земляную стену. Путаясь в серых всклокоченных волосах, по голове побежали муравьи, которым до холодов нужно было успеть построить новый дом...

* * *

Давно уже покоится в земле Макариха. Дашка Марусина, не выдержав безлюдья, сбежала в город, к сестре. Славка-охотник спился и на охоту больше не ходит, а значит, и в деревне не показывается уже лет десять. Никитич недавно ходил, смотрел: хата Славкина – он и прежде-то хозяин был кое-какой – совсем обветшала, собаки, одичав, разбрелись по округе пугать ночную тишь волчиным воем. Остался Никитич в деревне один.

«Как сыч» – говорит сын Серёга. Он теперь шофёром работает, возит какого-то городского начальника. Сын давно уже бросил уговаривать отца переехать в город, да и жилищные условия теперь, видать, стали тесные. Правда, приезжать стал чаще – в три недели раз. Серёга получает за родителя в райцентре фронттовую пенсию и привозит ему еду: крупы всякие, макаронны да тушёнку. Погреб у Никитича хороший – даже ливерная колбаса долго хранится.

Иногда летом сын привозит на неделю-другую Вовку. Никитич этому рад, но, беда, никак не может совладать с хмурым своим норовом, и внуку быстро надоедает гостить у деда. А что ж, мальцу уже пятнадцатый год – ему развлечения подавай. А где их взять в обезлюдной деревне?...

* * *

Пробудился Никитич от холода и тут же стал корить себя за недоделанную работу. Уже смеркается, а Белка так и лежит в шинельном саване, не похороненная. Кряхтя и цепляясь за черенок лопаты, старик поднялся, как-то отстранённо подумал, что выбраться из могилы у него уже не хватит мочи, и принялся размеренно, будто в полусне, углублять страшную яму.

В следующий раз остановился, когда до края уже едва мог достать рукой. Выбрасывать наверх землю стало трудно. Сквозь безлистые уже яблоневые ветки в яму равнодушно смотрел змеиный глаз луны, тишина нарушалась только неясными шуршаньями на поверхности, за краями ямы, там, где всё ещё лежала Белка. Снова забеспокоился Никитич, зашарил скрюченными пальцами по земляным стенам.

Разогнулся, насколько смог, даже на цыпочки привстал, нащупал наверху край грубого сукна и потянул к себе.

«Так и будем тут с моей Белкой, вместе», – деловито рассуждал Никитич, изо всех сил таща свёрток к краю ямы и отплёвываясь от летевшей в лицо земли.

Вдруг старик отчётливо понял, что силы его покинули и больше уже не вернутся. Он сполз всё в тот же могильный угол и неслышно заплакал. Необыкновенно светлые от луны слёзы медленно ползли по небритым морщинистым щекам и навсегда прятались в глубоких складках на шее.

Белка так и осталась на полпути к своему последнему пристанищу...

* * *

– Ты что удумал, старый?! – лохматый луч фонарика пробежал по стене ямы и упёрся в скорчившегося в углу Никитича. – Сам себя похоронить решил? А ну-ка...

Серёга за руку легко выдернул отца из могилы, поставил на ноги и, подхватив подмышки, поволок вниз с пригорка, к хате.

– Я тебе продуктов привёз... Днём времени не было, – приговаривал Серёга, удобнее перехватывая невесомое тельце старика. – А ты тут похороны устроил... Я те дам похороны!..

Никитич семенил слабыми ногами, спотыкаясь о корни, непонятно от чего редко всхлипывал и шептал невнятно:

– Белка сдохла...померла...

ПОДЪЕЗДНЫЙ НЕПОКОЙ АЛЁХИ СТРУКОВА

Алёха домой шёл. Не очень трезвый, конечно. А уже ночь, ноябрь. И ведь почти дошёл Алёха-то: подъезд родной – вот он. Заспешил чего-то, дверь подъездную распахнул и шагнул внутрь.

А в подъездах у нас двери двойные – для тепла. Вторая, она всегда открытой стояла, кирпичиком подпёртая. Но в тот злосчастный день кто-то неаккуратный, может, мимо проходя, кирпичик сдвинул. Дверь-то малость и призакрылась – получилась торцом аккурат по Алёхиному ходу. И только он в подъезд впрыгнул, этим торцом и долбанула Алёху в промеждуглазье. Крепко долбанула, искристо.

Добрёл Алёха в звёздном мерцании до своей квартирки на первом этаже и прилёг на диване, бутылку из холодильника к раненому лбу пристроив. Когда звон в башке маленько притих, стал думать: от чего это с ним такой нелицеприятный факт случился?

Получалось, что всему виной темень подъездная – сволочь какая-то опять на Алёхином этаже лампочку вывернула!

Выверты подобные происходили регулярно, но после дверного мордобития стал Алёха злоумышленника выслеживать. Вкрутит новую лампочку, самую ходовую – шестидесятиватную, и вечерами караулит за дверью, прислушивается: не полезет ли какой гад за дармовым светильником.

Долго дежурил Алёха, но так никого за руку не поймал. Подозрения, конечно, имелись, но их, как говорится, к делу не пришьёшь.

Да тут ещё напасть приключилась: ступеньки при входе в подъезд совсем негодными стали. От времени, наверное. Вернее, разрушились они, пожалуй, давно. Алёха сам сколько раз спотыкался и даже подумывал собственноручно ступеньки отладить – схемы на бумаге рисовал, прикидывал так и сяк. Но руки не доходили, и два несчастных порожка, ощерив ржавые арматурные челюсти, угрожали сразу всем пяти этажам.

Время пришло, и они привели в исполнение подлую угрозу. Радостным летним утром жена Нинка отправилась на работу – Алёха как раз чай с бутербродами на кухне кушал. Окошко кухонное первоэтажное прямо рядом с подъездной дверью в мир выходит; Алёха туда и не смотрел, доедал краковскую колбасу. Вдруг – грохот, причитания! Сердце враз куда-то в область поджелудочной железы ухнуло, там и затихло.

«Никак Нинка на ступеньках ковырнулась!» – заволновался Алёха и, замирая, посмотрел в окно.

Жена, шёпотом ругаясь, промокала подолом коленку.

– За коленку Нинкину вы мне ответите! – гневно вскричал Алёха, сел и написал заявление в ЖЭК: мол, ступеньки подъездные пребывают в аварийном состоянии; а дом, между прочим, должен ЖЭКом технически обслуживаться; имеются, мол, уже случаи травмирования граждан, а что ещё хуже – гражданок; и разрушенное состояние ступенек не красит фасад здания, а уж красоту женских коленок и вовсе никому нарушать не позволено.

Всё как есть написал. И ещё приписочку сделал: «Поскольку данный ремонт не требует сколь-нибудь серьёзных финансовых вложений и применения высокоточных техно-

логий, надеюсь на приведение входа в подъезд № 2 в соответствие с требованиями безопасности и эстетических норм в срочнейшие сроки». И подписался, как положено: «А. Струков, житель аварийного подъезда».

Алёха, конечно, специально так написал – подковыристо, едко. Настраивался на то, что жэковское начальство станет по обыкновению отписываться и тянуть резину до бесконечности. И тогда Алёха со всей этой перепиской и жениной коленкой явится в суд, который справедливо покарает этих бездельных бюрократов.

Он самолично отнёс заявление в ЖЭК и даже заставил тамошнюю секретаршу расписаться на копии, сделанной под синюю копирку. Не мог же Алёха знать, что через два дня, придя с работы, найдёт подъездные ступеньки отремонтированными?

А когда в подъезде стали собирать деньги на закодированную дверь, чтоб посторонние нечистоплотные элементы под лестницей нужду не справляли, Алёха инициативу очень даже поддержал.

Нужную сумму набрали со скрипом. Например, бабулька с третьего этажа ни в какую платить не хотела. «Я, – говорит, – от кровати до стула четыре дня иду, а вы мне – дверь закодированную». Или вот семейка ещё одна есть – две квартиры имеют: одну на втором, другую на пятом. Так они хотели деньги один раз сдать! Шалишь! Пользуешься двумя отдельными площадями в общественном подъезде – плати два раза!

Собрали, в общем, деньги, дверь приладили. Железную, тяжёлую. До чего хорошо стало: лампочки не воруют, испражнениями в подъезде почти не воняет!

Приходит к тебе, допустим, кто-нибудь – на кнопочки сбоку подъездной двери жмёт, а у тебя в квартире звоночек переливчатый, ласковый такой, сигнализирует. Переговоришь через устройство разговорное и решаешь: пускать посетителя или нет. И ему не так обидно – не надо топать, к примеру, на последний этаж, чтобы выяснить, что тебя дома нету. Очень, очень удобно! Особенно для высоких этажей.

К Алёхе-то если приятели идут, они на кнопочки не нажимают – кухонным подоконником громят: выходи, мол, Алёха, дело есть. Но всё равно же приятно, когда в подъезд кто зря не шаркает.

Правда, и среди соседей люди некультурные всё же встречаются. Особенная злость на них забирает рано утром или поздно вечером – никак, деревенщина, не отвыкнут, когда выходят-заходят, дверь настежь распахивать. Им что – махнул дверью да побежал дальше, а вот Алёхе – слушай, как незакрытая закодированная железка тру-лю-люкает. Окно-то рядом.

Вот и приходится ему скрипеть зубами, болеть желудком и, вместо того, чтобы спать спокойненько, вываливаться в подъезд, закрывать эту тру-лю-люкалку. Снова, понимаешь, непокой хорошему человеку!



Один из обычных дней Валентины Петровны

Есть ещё в городе кварталчики, недобитые новостройками, не урбанизированные, прямо скажем, кварталчики. Называются «частным сектором», состоят обычно из трёх-четырёх улиц, туго перехваченных переулками, и живут совершенно иной, почти деревенской жизнью. И хотя попрятались они, порой, в центре мегаполиса, воздух здесь чище, люди спокойнее, а всепроникающий городской гул висит, будто где-то вдали. Ну, прогрохочет, сотрясая посуду в буфетах, трамвай – так они, трамвай-то, бегают тут с незапамятных времен, и все к ним давно привыкли. Дома стоят четкими рядами, а дворы отделены друг от друга и от улицы крепкими крашеными заборами, поставленными неизвестно для чего – наверно, по заведенному некогда порядку. Но всякий тут знает, что и когда происходит во дворе соседа, потому как – тишина.

Вот в таком кварталчике и жила Валентина Петровна. Особо впечатлительный читатель сразу спросит: «Почему – жила?» Поспешим уверить: живёт и здравствует по сию пору, просто речь в нашем рассказе пойдёт о событиях, имевших место лет двенадцать или даже тринадцать назад, и для удобства будем употреблять глаголы в прошедшем времени.

Валентина Петровна, жила в собственном доме, вернее в половине его, так как другая половина принадлежала её родному брату и на момент повествования была заселена его дочерью Мариной, проживавшей с мужем, двумя детьми и собакой охотничьей породы дратхар. Дом имел два входа – с разных сторон, задворки и общий участок земли за се-

точной огорожей – попросту говоря, огород. Общим огород только числился – понятно, что молодой чете до земледелия дела было мало, а возделкой не слишком плодородного кусочка земли занималась, как умела, Валентина Петровна. Умела, надо сказать, не очень, но это к делу не относится. Дочка Валентины Петровны, Леночка – собаковод по убеждению – держала двух собак. В общем-то, ничего особенного в этом нет, иметь собаку, даже такой крупной породы, как чёрный терьер, в частном доме не только не слишком хлопотно, а даже, вроде, положено. Но если к чёрному терьеру добавить колли, за которым Леночка ездила, как бы не соврать, чуть ли не в Прибалтику, да приплюсовать ещё соседского дратхара, да помножить всё это на постоянную занятость Леночки, работающей учительницей в школе где-то за городом, то ситуация в отдельно взятом дворе начинает пахнуть псарней.

Судьба, вообще, штука нелёгкая, а, порой, вовсе невыносимая, но Валентина Петровна никогда на неё, злодейку, не жаловалась – жила, как могла, иногда даже очень весело жила. Работала, вот уж почитай, четверть века в бухгалтерии на заводе, недалеко от дома, и частенько приглашала заводских подруг к себе – это ж как приятно летним вечером посидеть под яблоней, в хорошей компании выпить бутылку-другую вина, пожевать в который раз заводские сплетни и закончить день, уже за полночь, протяжными песнями о... конечно, о тяжелой и совсем нерадостной женской доле.

* * *

В тот год осень пришла ни рано и ни поздно – вовремя пришла, плавно закруглила лето и тихонько заголосила мелкими и противными дождями. Не успевшие ещё облететь липы недоумённо-обиженными стояли вдоль улицы, свесив жёлтые промокшие лохмотья, – словно барышнимодницы, вышедшие погулять, надев самые стильные свои наряды, и вдруг угодившие под струю шальной поливальной машины.

Нынешнее утро серо сочилось в кухонное окно, делая обычный завтрак унылым и невкусным. Валентина Петровна торопливо собиралась на работу. Выпуская во двор обеих своих собак, наказала: «Сторожите тут» и быстро зашагала по дорожке к калитке. И... приросла к месту. Прямохонько посередине дорожки стояло, лоснясь боками, новенькое синенькое пластмассовое ведро. Точно такое, какие производили в цехе ширпотреба на заводе, где работала Валентина Петровна.

Определённо, ведра не было ни вчера вечером, ни сегодня утром, когда Валентина Петровна ещё в сумерках тайком выбегала на улицу, чтобы выплеснуть на дорогу помои. Судорожно сморгнув, женщина снова посмотрела на невесть откуда взявшуюся ёмкость. Ведро нагло стояло, совершенно не выглядя утренним миражом.

Однако время поджимало, и раздумывать было некогда. Осторожно, придерживая полы плаща, Валентина Петровна обошла ведро и резво потрусила на работу...

Работая в бухгалтерии, можно между делом, под бумажный шелест авансовых отчётов, абсолютно не в ущерб производству, вести неспешные разговоры на разные жи-

тейские темы. Комнатка небольшая, столы под немислимыми углами притиснуты друг к другу, коллектив родной и общительный – калькулируй себе и беседуй. Утреннее явление ведра всплыло к третьему часу рабочего времени, после обсуждения достоинств Мэйсона из «Санта-Барбары» – обаятельного, но запойного адвоката.

– Петровна, а ты, когда помои вылила, калитку-то на щеколду задвинула? – спросила, сидящая напротив, тоже Валя, Валентина Ивановна, не раз бывавшая на посиделках у Валентины Петровны и, понятно, картину представлявшая очень реально.

– Нет, – подумав секунду, ответила Валентина Петровна – А зачем? Кто ко мне в такую рань полезет? С моими собаками...

– Неспроста это, Петровна, ох, неспроста...

К разговору подключилась Лидочка, молодая, но уже поднаторевшая в бабьих пересудах:

– Вы будьте поосторожней, Валентина Петровна, я слышала, так и сглазить могут...

– Точно! – ахнула Валентина Ивановна. – Кто-то, Петровна, порчу на тебя наводит! У тебя эти... недоброжелатели есть?..

Валентина Петровна – по натуре ли, по воспитанию ли – не была человеком, напрочь лишённым предрассудков, и женщинам понадобилось не очень много времени, чтобы довести её до беспокойства, граничащего с полным ужасом.

– Надо избавиться от ведра, с моста в реку бросить – только так спасёшься, – заключил всезнающий коллектив.

И в перерыв, вместо традиционного совместного – кто, что может, – обеда, отправилась запуганная Валентина Петровна сначала домой, а потом, неся злополучное ведро в далеко отставленной от себя руке, на которую по совету подружки была надета резиновая перчатка, к ближайшему мосту.

Промозглая погода не очень располагала к прогулкам, но народу по мосту шло много. Прилюдно швыряться ведрами в реку Валентина Петровна стеснялась, но и порчи боялась жутко. Уже пятнадцать минут она топталась по мосту туда-сюда, выбирая момент для решительного броска, но чёртов мост стал сегодня просто какой-то «дорогой жизни»! Прохожие с выгнувшими зонты шли нескончаемо и поглядывали подозрительно: не топиться ли тётка собралась?

Перерыв подходил к концу, дождь наоборот только набирал силу. Совсем отчаявшись и зажмурил глаза, Валентина Петровна широко размахнулась и наконец метнула всю эту хиромантию за перила. Ветер радостно подхватил ведро и понёс, понёс его, переворачивая с боку на бок, подбрасывая и опуская, продлевая безумный полёт, избавляя достойную женщину от порчи и всякого сглаза!..

Пережитое волнение не позволяло нормально доработать остаток дня, и Валентина Петровна, сославшись на лёгкое недомогание, отпросилась у начальства домой...

Подходя к дому, она услышала истеричный лай. Собаки надрывались так, будто конец света уже близок, и отпугнуть его можно только основательно пошумев.

«Господи, – мысленно перекрестилась Валентина Петровна. – Что-то случилось! Всё-таки навели порчу!..»

Руки крупно дрожали, когда женщина ковыряла в замке ключом. Открыв калитку и добежав до дома, она даже немного удивилась – дверь закрыта, никаких повреждений не наблюдается, а лай доносится с огорода.

Поскольку никогда в жизни Валентине Петровне не доводилось принимать участие в псовой охоте, зрелище, поджидающее её, было невиданным.

По припорошенному, будто снегом, белыми перьями огороду неправильными кругами неслись три собаки. Впереди, как и положено псу охотничьему, летел с гордо поднятой мордой дратхар, за ним, ожесточенно лая, бок о бок скакали чёрный терьер и колли. Но явным лидером в этой гонке был некажистого вида петух. Стремительно перебирая лапками, петух шёл на рекорд. Хвоста у него уже не было, но любовь к жизни сдаваться не позволяла. Собаки пробовали окружать петуха, но тот маневрировал настолько ловко, что успевал метнуться в сторону всякий раз, когда, казалось, был уже обречён. Собаки сшибались лбами и, подзадоривая друг друга брёхом, снова и снова наматывали круги. Забава была в самом разгаре.

У решётчатой ограды, видно, поддавшись общему веселью, прыгала, смешно размахивая руками, племянница Марина и кричала:

– Чепэ! Ко мне! Сюда! Зараза! Убью!..

Увидев Валентину Петровну, она прокричала, словно оправдываясь:

– Я туда заходить боюсь! Затопчут же!..

Валентина Петровна, как была – с сумками в руках, бросилась в огород:

– Катя! Гольд!

Как ни странно, собаки услышали её голос и, моментально прекратив догонялки, побежали к хозяйке, заискивающе поскуливая, будто их застали за очень уж неприличным занятием.

Дратхар Чепэ (чрезвычайное происшествие), прозванный так в своём собачьем детстве за активно любознательный нрав, оставшись без поддержки, малость смешался, в азарте поводя ноздрями, закрутил недоумённо головой: как же это, ведь было так весело?

Петух, снова оказался расторопней всех – с ходу перемахнул огорожу, мимо ошарашенной Марины сквозанул прямым в распахнутую дверь дратхаровой вольеры и, не в силах остановиться, влетел в собачью конуру. Тут бы ему и конец, но Марина успела захлопнуть дверь вольеры перед носом быстро пришедшего в себя Чепэ. Птица была спасена.

– Откуда взялся этот петух? – строго спросила Валентина Петровна, загнав своих собак в дом.

– А я знаю? – обиделась Марина, пытаясь уgomонить кидавшегося грудью на сетчатую ограду вольеры Чепэ. – Я сама к началу охоты не успела. Гляжу, они его уже треплют... Может, от соседей перелетел?

Валентина Петровна неопределенно пожала плечами и кивнула на конуру:

– Доставать его оттуда надо, пока живой...

А достать перепуганную птицу было непросто. Маринин муж, души не чаявший в своей собаке, конуру смастерил что надо: двухкомнатную, утеплённую. Петух из дальней комнаты глядел острым глазом и молчал. Дратхар уже смирился с тем, что активная часть охоты закончилась, и с интересом

наблюдал из-за стальной сетки за неуклюжими попытками женщин пролезть в узкий лаз его собственного дома.

Пришёл из школы Маринин сын-третьеклассник и живо принялся помогать взрослым в выемке петуха. В силу небольшого своего размера он ловко влез в конуру целиком, но дальше первой комнаты не прошёл – петух оборонял обрётённое убежище стойко, как защитник Брестской крепости.

– Димочка, Димочка, – суетилась Валентина Петровна, – глаза, глаза береги! У него клюв, знаешь, какой...

– Хватит, – решила Марина, и они вдвоём вытянули за ноги раскрасневшегося и перемазанного ребёнка из конуры. Глаза у него были целы, только слезились и ничего не видели, засорённые всяким сеном-соломой.

– Ключётся, гад, – сказал Димочка, отплёвываясь и протирая кулачками глаза. – И крыльями дерётся...

Чепэ за сеткой снова забеспокоился, всем свои видом показывая: пустите, мол, меня, уж я достану, раз сами не можете. Марина показала ему кулак, пёс обиделся.

– Мама, – сказал вдруг не по годам рассудительный Димочка. – Я же папе помогал конуру строить? Помогал. У неё крыша снимается...

Крыша, обитая жостью, была тяжелой, но втроем её кое-как сдвинули. Петух сидел, вжавшись в угол и на всякий случай закрыв глаза, он уже понял, что теперь-то уж точно – конец.

– Куда его? – спросила Марина, крепко держа петуха на вытянутых руках – он уже не трепыхался.

Валентина Петровна, быстро сообразив, что у соседей слева сроду кур не водилось, решительно определила:

– К Борису.

И Марина метнула петуха через забор направо. За забором сначала пошумело, повозмущалось, поквохтало – потом стихло.

Четверо участников петушиной охоты, включая собаку, присели на завалинку усталые, но довольные.

– Петушок, конечно, изрядно потрёпанный, – глядя прямо перед собой, сказала Валентина Петровна. – Но мясо-то мы Борису сохранили...

Вечером, прежде чем отправится за водой на колонку, Валентина Петровна долго выглядывала из калитки: не видать ли там где соседа Бориса – как за ободранного петуха оправдываться-то? А на колонке, уже наполняя второе ведро, с ужасом заметила, как Борис выходит из своей калитки с вёдрами, и встречи не миновать – не переться же с полными вёдрами в другую сторону от дома. Валентина Петровна хотела пройти мимо соседа, будто не заметив его, но Борис окликнул её сам:

– Валь, у тебя петух не пропадал? Приблудился какой-то... Мои-то все пёстрые, разноцветные, а этот – белый.

И добавил, получив неуверенный, но отрицательный ответ:

– Ну, если что, не обессудь, сварил я его... Всё равно не жилец, ощипывать почти не пришлось...

Когда Валентина Петровна зашла к племяннице поделиться новостью, там уже сидел её брат, отец Марины – он, будучи на пенсии, подрабатывал дворником на том же заводе. Дворничая по утрам и вечерам, он зашёл проведать дочь и внуков после вечерней половины своей работы и теперь слушал «про петуха». Валентина Петровна дополнила рассказ своими впечатлениями и поведала о встрече с Борисом.

– Как? – вскинулась Марина. – Это что же получается, что мы своими руками столько мяса выбросили?

– Не выбросили, а подарили, – поправила Валентина Петровна и, раз уж вечер полнился воспоминаниями о прожитом дне, рассказала о том, как избавлялась сегодня от порчи.

Марина сначала весело смеялась, а потом её отец, брат Валентины Петровны, грустно сказал:

– Валя, а ведь это я Маринке с завода ведро принёс. Я же рано иду – они ещё спали, а у тебя калитка открыта была. Думал, догадаешься... Вот это уж, действительно, выбросили...

Не по годам рассудительный Димочка, засыпая в своей кровати, думал: «Так откуда же взялся этот петух?..»

* * *

Взыскательный читатель, дотянувший до конца этого рассказа, может озадачиться вопросом: «А мораль?» Нету, дорогой читатель, не ищите. Что сам слышал, то и рассказал. А слышал от самой Валентины Петровны, с которой происходило и происходит ещё много всяких историй, и от прочих участников событий этого, в общем-то, обыкновенного осеннего дня.



ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ АПРЕЛЬ

Апрель уже просох под солнечными лучами. Тополя выбросили первые листья – ярко зелёные и блестящие их язычки, едва выпрастываясь из почек, жадно лизали воздух, освещали парковую аллею. Снег, водой сбежавший в реку, оставил на газонах привычный зимний мусор: линялые бумажки, смятые пластиковые бутылки, картонки из-под сока, сигаретные пачки. Нет, снег, если и виноват, то лишь в том, что всю зиму покрывал некрасивые дела людей...

Приблизительно такие мысли неторопливо кружились в голове Виктора Петровича, в такт им шаркающей походкой бредущего по асфальтовой дорожке.

Впрочем, на мусор можно и не смотреть. Есть деревья, начинающие оживать; есть небо, ещё по-зимнему белёсое, но уже поднявшееся, воспарившее над землёй; есть, наконец, молоденькая художница, пристроившаяся на краю скамейки: одну ногу поджала под себя, на коленях фанерка – чиркает что-то карандашом, изредка поглядывая вокруг.

Парковые скамейки, как ни странно, чистые, хоть и облупленные. Не успели, значит, затоптать их бесцеремонные тинейджеры.

Виктор Петрович устало присел напротив художницы и прикрыл глаза, глубоко вдыхая пряный весенний дух.

Он давно заметил, что апрели все разные. Нынешний для него – шестьдесят восьмой, а присматриваться к ним Виктор Петрович стал, примерно, с тридцать девятого. До этого весна была просто весной, зима – зимой, лето – летом. В беспрестанной круговерти забот, теперь казавшихся

по большей части пустыми, некогда было приглядываться к смене времён года.

Апрель этого года был ярким днями и холодным по ночам, остро пахнущим перестоялым туманом и берёзовым соком...

Рядом на скамейку плюхнулся подросток. Худосочный, копна волос, мешковатые штаны, того и гляди, свалится с жидких бёдер. Из ушей свисают тонкие проводки «музыки». Плеер, кажется, называется. Сколько ему? Пятнадцать? Шестнадцать? А уже с бутылкой пива. Дела!..

Он и сел-то на скамейку, уже занятую Виктором Петровичем, не потому, что свободных не было. Скорее, юнец просто не видел и не слышал ничего вокруг, увлечённый исключительно собой.

А вокруг была весна! Апрель! Оживает земля!.. Вон птичка по газону весело бегаёт, выискивает чего-то среди мусора...

– Приколись, дед, птица какая чудная! – завопил вдруг подросток, оглушённый своей «музыкой». – Вертихвостка, кажись!

– Трясогузка, – машинально поправил Виктор Петрович, неуверенный, что его слышат. И одновременно удивился: надо же, малец-то, оказывается, наблюдательный – меня, вон, увидел, птичкой заинтересовался.

– Я и говорю, прикольно – хвостом-то так и трясёт! – продолжал восхищаться подросток. От избытка чувств он выдернул наушники из ушей, и музыка вырвалась на волю, заставив Виктора Петровича удивиться еще раз: песня, льющаяся из наушников, была популярна и тридцать лет назад.

– Пива? – учтиво спросил подросток, протягивая наполовину опорожнённую бутылку.

– Да нет, спасибо. Самого-то родители не заругают?
– За что!?! – округлил глаза пацан.
– За пиво. Запах, поди, унюхают.
– Не заругают. Не заметят. Им некогда – заняты обеспечением благосостояния семьи, – мальчик явно повторил слова взрослых, лёгкая тень обиды сквозанула в его голосе. – Да и пиво-то – безалкогольное. Вот, читайте...

Виктор Петрович с интересом рассматривал подростка. Тот уже переключил внимание на художницу.

– Тётяшка, вы меня рисуете!?! – кривляясь, прокричал он.

Художница коротко стрельнула в пацана глазами и презрительно фыркнула в сторону.

Мальчишка поднялся со скамейки и вихляющей походкой двинулся к девушке.

«Обидеть ведь может», – подумал Виктор Петрович, но парень до художницы не дошёл. Приблизился, постоял в сторонке, вытягивая по-гусиному шею, и, поддёргивая в спесивости штаны, притопал обратно.

– А-а, – пренебрежительно протянул он. – Деревья какие-то, скамейки...

Подросток потоптался ещё с минуту, допил пиво и, будто спрашивая, сказал:

– Ну, я пошёл?

Бутылку он, помедлив немного, опустил таки в урну. И пошагал, загребая широкими штанинами прошлогоднюю листву. Маленький предоставленный сам себе человечек...

Виктор Петрович улыбнулся своим медленным мыслям и снова прикрыл глаза. Жизнь прожита, и не нужно думать о прошлом, о будущем грезить тоже не стоит, сколько бы его

ни осталось. Важен покой, важен апрель со своим мягким светом и горьковатым вкусом...

– Здравствуйте. Извините, я присяду...

Рядом со скамейкой стояла пожилая женщина в сером пальто и чёрной изящной шляпке.

– Ну что вы, конечно, садитесь. – Женщина понравилась Виктору Петровичу своим шероховатым голосом и ненавязчиво-извинительной манерой обращения.

Она села чуть в стороне, аккуратно подобрала полы длинного пальто и пристроив на коленях средних размеров сумку.

«Ей, примерно, столько же, сколько и мне, – определил возраст соседки Виктор Петрович. – Когда-то она была, наверное, красива... Да нет, и сейчас очень симпатична, только... устала».

Женщина глядела вдаль перед собой, в прямой спине и покойно лежащих на сумке руках действительно чувствовалась большая усталость.

– Гуляете? – довольно глупо спросил Виктор Петрович.

– Нет, – спокойно улыбнулась женщина. – Я в поликлинику пришла, очередь заняла, посидела часик – невамоту стало. А там народу – ещё часа на два... Вышла подышать.

Виктору Петровичу почему-то было приятно слушать её ровный голос и смотреть на её простое лицо.

Вдруг мимолётная лукавинка высветилась в глазах женщины, сделав их молодыми.

– Я вас знаю, – сказала она, – вы из десятого «А». Но меня вы, конечно, не помните. Я тогда в седьмом училась и была в вас безнадежно влюблена. А вы... вы за Ленкой из девятого «Б» ухаживали. Ну ещё бы, первая красавица школы! Все мальчишки, как с ума посходили...

Виктор Петрович изумлённо смотрел на случайно встреченную женщину, которая вдруг легко привела в порядок пыльный ворох его воспоминаний. Конечно, он её не узнавал, и не мог узнать – разве обращал он в те годы внимание на каких-то семиклашек. Но она говорила правду: учась в десятом, он, как и все его одноклассники, ухлёстывал за Ленкой Бариновой, страдал, сгорая от безумной любви, по ночам тайком приносил цветы к дверям её квартиры, посвящал ей стихи...

– Я сразу вас узнала, – говорила женщина. – Кстати, меня Любой зовут, Любовью Ивановной. Вы ведь никогда даже не подозревали о моём существовании, верно? А я потом ещё долго любила вас, всё надеялась, что когда-нибудь... Да что я! Всё это было тысячу лет назад!..

Они сидели на облупленной скамейке, посреди пустынного парка, в самой середине весны, и неторопливо рассказывали друг другу каждый о своей жизни. Виктор Петрович – о всех своих четырёх браках, каждый из которых считал вполне счастливым; о сыновьях и дочках, разлетевшихся во все концы страны, увезя с собой недоласканных внуков; о том, что он (оказывается, уже двадцать три года!) очень одинок, после развода с четвёртой женой; о том, что... всё у него хорошо, и здоровье особо не беспокоит. Любовь Ивановна говорила, что замуж вышла поздно, но на всю жизнь – супруг её и ныне здоровствует и даже ещё работает преподавателем в техникуме; дочка с мужем живут неподалёку – всего-то в получасе ходьбы, и внучка неделями пропадает у бабушки с дедушкой; и всё у них тоже хорошо, только вот болячки навалились...

Тихо, матово светило солнышко, перекрикивались, пробуя голоса, какие-то пичуги, где-то вдалеке звонил колокол. Виктор Петрович смотрел в глаза Любви Ивановны, видел в них своё отражение и запоздало млеял оттого, что эта, теперь уже пожилая... да что лукавить – уже престарелая, красивая женщина была в него влюблена. Это было давно, очень давно, но почему-то хорошо от этого было сейчас...

– Мне пора, – сказала Любовь Ивановна, протягивая ему руку. – Как бы очередь не пропустить. Я очень рада, что встретила вас. До свидания, Саша.

Отпуская шершавую тёплую ладонь, Виктор Петрович тихо улыбался, немного ошарашенный. Ему было чуть-чуть грустно от понимания, что влюблена в те давние годы Люба была вовсе не в него, а в его закадычного дружка Сашку Ветрова.

Она ушла по весенней аллее. Виктор Петрович снова сидел на скамейке и, прикрыв глаза, дышал своим шестьдесят восьмым апрелем...

– Дедушка, возьмите, вот... На память.

Перед ним стояла художница и протягивала ему квадратный лист картона. На листе твёрдыми, умелыми карандашными штрихами был нарисован уголок парка с деревьями, скамейкой, а на скамейке, держась за руки, сидели Виктор Петрович и Любовь Ивановна. Только... они были молодыми, тридцатилетними. Юная художница ещё не умела рисовать старость.

ПРОЕЗДНОЙ

Он светился на затоптанном троллейбусном полу. В грязном месиве, принесённом десятками ног с февральской улицы, белел чистеньким квадратом и магнитил глаз.

Лёнька огляделся, пытаясь определить, кто обронил бумажку. Хмурые утренние пассажиры сидели и стояли, глядя внутрь себя.

Пожав плечами, он медленно, всё ещё надеясь, что растяпа отыщется, нагнулся и поднял картонный прямоугольник. На нём золотисто поблёскивала цифра «два».

«На февраль», – отметил Лёнька и машинально глянул на часы, хотя и так знал, что сегодня двадцать девятое февраля – день, в который он тридцать два года назад удосужился появиться на свет.

На душе с утра было пакостно. Там почти всегда было уныло, а в этот злополучный, лишний в году день особенно. Жена с днём рождения не поздравила. Впрочем, она ещё спала, когда Лёнька, всухомятку позавтракав, уходил на работу.

Он давно уже перестал отмечать день своего рождения – чего его праздновать, если он случается только раз в четыре года, а в нормальные, не високосные года, календарём не запланирован?

Ещё в детстве Лёнька с грустью понял, что в его жизни праздников будет меньше, чем у других, и с этим безобразием почти примирился. Допускалось, конечно, что где-то живут люди, также рождённые в дополнительный день, но он, Лёнька, лично таких не встречал, а потому имел все основания обижаться на судьбу и считать себя неудачником по рождению.

За редкостью празднований и жена скоро и благополучно забыла день рождения своего мужа.

С утра зарядил совсем не февральский нудный дождь, стремительно пожиривший дряблые и закопчённые городские сугробы. Мутная, будто похмельная, вода с клокотаньем поволокла вдоль тротуаров к засорённым водостокам вытаивающий мусор.

Был обычный четверг. На работе Лёньку поздравления и подарки не ждали тоже. С коллегами он держался замкнуто и уж о дне своего рождения, понятно, не распространялся. Кадровичка, наверное, знала, но какое ей было дело до техника средней паршивости?

И тут вдруг этот проездной! После дождичка в четверг...

«На все виды! – восхитился Лёнька, вытирая билет о подкладку плаща. – Жаль, месяц кончается».

Лёнькины отношения с кондукторами складывались не просто.

На работу ездить приходилось ежедневно, свободных денег никогда не было, и Лёнька быстро освоил тактику бесплатного проезда. Он выбирал троллейбус или автобус попопней и протискивался в раздвижные двери последним. На каждой остановке вываливался с выходящими пассажирами и заходил в другую дверь.

Случались и проколы: когда Лёнька натыкался на кондуктора прямо при входе. Тогда он бормотал: «Минуточку, я же только вошёл... Сейчас, сейчас...». И долго шарил по карманам в надежде, что вот-вот подоспеет следующая остановка, двери откроются, и ему удастся выскользнуть

безнаказанно. Бывало, Лёнька менял три-четыре троллейбуса, пока добирался до работы.

Иногда неприхотливую Лёнькину память будоражили ставшие полуфантастическими воспоминания: с умильной тоской вспоминались далёкие времена, когда кондукторов не было вовсе, а в салонах троллейбусов стояли кассы. Войти и не опустить монетку в узкую прорезь было стыдно даже пацанам его возраста – казалось весь салон с упрёком смотрит на тебя. Зато уж если бросил денежку – крути билетов, сколько надо, на всю компанию!

Теперь такого нет. Пропало куда-то, как и надписи с троллейбусных стен типа: «Совесь пассажира – лучший контроллёр»...

А уклоняться от оплаты проезда становилось всё труднее. Лавиной захлестнувшие город маршрутные такси здорово разгрузили допотопные троллейбусы. Те заполнялись теперь только в «часы пик», а так – слонялись по улицам полупустыми. Но в «маршрутку» без денег не проскочишь.

Денег, как уже говорилось, не было.

Скуповатая жена аккуратно отбирала небольшую зарплату до копейки. Нет, конечно, всё это не пускалось по ветру, а тратилось «на хозяйство», но неудачнику мужу наличные не выдавались даже на обед. Вместо этого жена ещё с вечера совала в дерматиновую Лёнькину сумку два бутерброда – с колбасой и сыром, и стальной полулитровый термос с чересчур сладким чаем. Исключением был «тройк» – на сигареты.

И тут вдруг этот проездной! Подарочек ко дню рождения...

А по проходу из салонной глубины уже надвигалась грозовой тучею кондукторша с каменным лицом.

Лёнька, забыв обо всём, метнулся, было, к закрытой двери и начал судорожно рыться в карманах.

– Оплачиваем проезд, – сердито сказала кондукторша.

Лёнька икнул и наткнулся в кармане на только что найденный проездной билет.

– П-проездной, – всё ещё ожидая подвоха от судьбы, пролепетал он.

Кондукторша повертела в толстых пальцах его бумажку, придирчиво оглядела со всех сторон. Лёньке даже показалось, что она обнюхивает проездной – во всяком случае, при осмотре документа ноздри кондукторши хищно трепетали.

«Сейчас на зуб попробует – и всё!» – заглодело внутри.

Обошлось. Кондукторша вернула проездной и сразу потеряла к Лёньке интерес, лишь напоследок спросила:

– На март приобрести не желаете?

Лёнька яростно замотал головой, а кондукторша зажмурилась, решив, что голова странного пассажира непременно сорвётся с плеч и вылетит в окно.

Лёнька ликовал. Можно было ехать, ничуть не опасаясь, что начнётся скандал, и его станут высаживать где-нибудь посреди дороги. Он страшно боялся скандалов, просто скинул – моментально, как молоко в тридцатиградусную жару, – если на него начинали орать. А кондукторы – народ больше крикливый, нервный.

Итак, Лёнька ехал на работу. Вполне законно, как не ездил уже несколько лет. А внутри него уже кто-то настырно и жарко шептал: «Какая работа? Тебе же валит, Лёня! Такая

халява бывает, если не раз в жизни, то уж никак не чаще, чем раз в четыре года! У тебя-то, у неудачника...».

Действительно, ведь завтра уже другой месяц... Ах, как несправедлива жизнь!

До работы Лёнька не доехал. Он вышел, пересел на другой троллейбус, идущий в противоположную сторону. Проехав несколько остановок, снова пересел и поехал ещё куда-то. Его понесло.

Сначала он выбрал самый длинный городской маршрут, но, покатавшись часа три, понял свою ошибку. Какой же интерес в том, чтобы, имея в кармане проездной, не предъявлять его каждые десять минут? Да и кондукторы перестали обращать на Лёньку внимание – примелькался.

Он стал ездить во всех направлениях.

Ну есть, есть в этом особая прелесть: спокойно войти в салон, без суеты занять лучшее место и лишь потом небрежно бросить в сторону кондуктора: «Проездной».

Или, наоборот, спрятаться за других пассажиров и, когда бдительная кондукторша протолкается к тебе сквозь гранитные плечи и спины, принять испуганный вид и долго выворачивать карманы, перебирая всякую мелочь. А как только скандальные кондукторские губы сложатся в иерихонскую трубу, чтобы поднять тревогу, сунуть ей к самому носу законный свой билет!..

Ах, как Лёнька мстил им за долгие годы унижений, когда он трепещущим зайцем, на перекладных, вынужден был каждый день пробираться на службу, чтобы заработать свой кусок хлеба! Он упивался мстостью, придумывая всё новые и новые издевательства над работниками городского

транспорта. И всё – законно! Надёжней любого адвоката защищал Лёньку проездной билет!..

Он ездил целый день: доезжал до перекрёстка и менял троллейбус на трамвай, из трамвая пересаживался в автобус – проездной-то на все виды! Лёнька галантно уступал место старушкам и женщинам, сажал к себе на колени чужих детей: весело агукал с малышняй и рассказывал сказки (оказалось, он помнил все бабушкины сказки!) ребятам постарше. Он даже пытался руководить салонным коллективом – кому где стоять, кому куда сесть, – за что его чуть не побили. Но всё равно Лёнька был счастлив. Он чувствовал себя человеком!

К полуночи не осталось в городе остановки, где сегодня не побывал Лёнька. Не было ни одного вагона трамвая, троллейбуса или автобуса, который, отправляясь на покой в парк, не уносил бы с собой частичку Лёнькиного восторга.

Проездной был использован «на всю катушку»!..

Дверь ему открыла заплаканная жена. Увидев растерзанное и утомлённое тело мужа, его невидящие глаза, полные запредельным счастьем, она робко спросила:

– Ты где был? Я ждала-ждала...

– У меня проездной, – туманно пояснил Лёнька и прошёл мимо празднично накрытого стола в спальню.

Жена отважилась на цыпочках войти следом лишь десять минут спустя.

– Лёничка, – жалобно позвала она, присев на край кровати. – Ты мне изменил, да?

Лёнька спал поверх покрывала, широко разбросав руки и свесив с кровати тощие ноги.

Жена осторожно наклонилась над ним, приняюхиваясь.

– Вроде, трезвый, – она накрыла мужа пледом и тяжело вздохнула: – С днём рождения, горе ты моё...

Утром первого марта Лёнька стоял на остановке, всматривался в подъезжающий троллейбус, пытаясь угадать, в какую дверь входить, чтобы не напороться на кондуктора, и придумывал, как оправдаться за прогул.



ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

Не болейте!

В конце октября Серёга заболел. Никогда не болел, а тут – на тебе: в горле запершило, из носа потекло, температура какая-то в голову шибанула... Перепугался, даже врача на дом вызвал.

Докторица впорхнула в его жилище, не разувшись и ног не вытирая. Серёга тогда не знал, что такое право непрерываемо закреплено за представителями двух профессий: сантехником и участковым терапевтом. Впрочем, ладно. Она и нагрязнить-то особо не успела. Послушала Серёгу, застывшего с высунутым языком, лекарства назначила и велела сдать анализы для обнаружения всякой заразы. И упорхнула.

Серёга медицинские указания аккуратно выполнил: таблетки скушал, баночки какие надо наполнил и отправился в поликлинику, где отродясь не бывал.

Поликлиника встретила недружелюбно – хлопнула по спине дверью, по ноздрям – микстурным запахом.

Неровная очередь к гардеробной стойке скучно вздыхала под яркой табличкой: «Сумки и шапки не принимаем». Не принимали не только сумки и шапки, не принимали ничего – все крючочки были заняты, и гардеробщица, худая и нервная, визгливо увещевала хандрящую очередь:

– Ждите. Сейчас с анализов будут подходить с номерочками, тогда раздену...

«Вот ведь сколько народу болеет!» – ужаснулся Серёга и пошёл наверх одетый.

Заняв очередь «на кровь», он стыдливым шёпотом поинтересовался у стоящей впереди женщины в вязаной шапочке, куда пристроить наполненные баночки. Ему показали.

Возвратившись, Серёга попытался было втиснуться за «вязаной шапочкой», но вновь подошедшие желающие подставить свои вены под шприц заявили: «Вы тут не стояли» и оттеснили его в конец очереди. Там тоже оказалась «вязаная шапочка», может, даже та самая, и Серёга решил держаться за ней.

Очередь не слишком ходко, но двигалась. Серёга с интересом знакомился с медицинской настенной агитацией. Прочитал и про СПИД, и про туберкулёз. Особенно его вверг в уныние сахарный диабет. Серёга мысленно, но отчаянно корил себя за то, что прежде не посещал медицинских учреждений, а насморк лечил обыкновенной поваренной солью.

Вдруг он услышал, как дамочка в кокетливой шляпке спросила у соседки по кушетке:

– Вы шприц купили?

Серёга заволновался. Докторица про шприц ничего не говорила.

– Успокойтесь, женщина, – сказали из очереди. – Есть у них шприцы.

– Да у них отечественные! – не унималась «кокетливая шляпка». – Я вот купила импортный.

– Кто вам сказал, что отечественные хуже?

– Хуже, хуже. Игла толстая и вообще...

Долго потом ещё «кокетливая шляпка» сеяла смуту, терзая очередников вопросом: «Вы шприц купили? У них отечественные. Они хуже...»

Говорила она, в общем-то, правду. Но только потому, что кто-то присоветовал ей купить шприц, и она, дура, купила, а «у них», оказывается, шприцы-то есть, хоть и отечественные. Вот ведь какая неприятная женщина.

Под надзором хлопотливой мамыши прибыл сдавать кровь бледный юноша измождённого вида. Ему явно было нехорошо то ли от неведомой болезни, то ли от неминуемой процедуры. Мамаша растолкала сидячих очередников и бережно пристроила своё чадо на кушетку.

Рядом сидящая сердобольная тётка, оглядев «умирающего», сказала успокоительно:

– Не бойсь, малый. Это совсем не больно. Из пальца – больней.

Юноша благодарно поглядел на тётку, будто ища защиты. И тут влезла неугомонная «кокотливая шляпка»:

– Это, смотря у кого какие вены. Бывает, всю руку истыкают...

Она опять говорила правду. А юноша, подкатив глаза, сползал по бледно-зелёной, как его лицо, стене...

Над дверью приветливо моргнула лампочка, и Серёга, держа подмышкой куртку, шагнул в кабинет.

– Молодой человек, вы что, читать не умеете? – грозно спросили из глубин кабинета. – На двери же ясно написано: «В верхней одежде не входить».

– Так у вас в гардеробной номерочков нету, – попытался сопротивляться Серёга. – Я тут, в уголочке, пристрою...

– Вы русский язык понимаете? Не положено!..

Серёга выскочил из кабинета, лихорадочно огляделся и сунул свою старенькую курточку с брезентовым верхом за

старушку, дремлющую на кушетке. Пока он этим занимался, вперёд него проскочил какой-то дядька. Но Серёга всё же ворвался в кабинет кровосдачи следующим.

Укола он даже не почувствовал, а кровь из молодой вены брызнула в отечественный шприц весело, заиграла расплавленным рубином...

Выйдя из кабинета, Серёга не нашёл свою курточку и очень расстроился. Кушетка на месте, старушка на месте, а курточки нету. Потыкался по другим кушеткам – безрезультатно. По всему выходило: спёрли курточку. Старенькую, дермовенькую, с линялым брезентовым верхом, а спёрли!

У стоящих в очереди чего выяснять? Вон у них у всех лица бледные, глаза стеклянные – больные люди. Пошёл Серёга искать главного поликлинического врача, чтобы о неприятном факте заявить. Нашёл.

– Что же у вас тут творится? – спрашивает. – Номерочков в гардеробе нету, а в кабинет – не положено. Кто же за курточку ответит?

А главный ему говорит:

– Вы странный, ей-богу, больной. Мы же как раз для таких как вы на каждом этаже объявления развесили. Чтоб за ваши курточки и сумочки не отвечать. Пойдёмте, покажу.

И выводит Серёгу в коридор. А там, как раз против лифта плакатик висит: «Администрация поликлиники не несёт ответственности за вещи, оставленные в коридоре». И привет.

А болячки серьёзной никакой у Серёги не нашли. Вот только за курточку обидно. Ну да он себе новую купил, кожаную. Денег что ль нет?

Будьте здоровы!..

В коридорах районной поликлиники прохладно, благогостно. Попадая сюда с летней улицы, чувствуешь себя везучим пескарем, чудом, в последний момент соскользнувшим с раскаленной сковородки. Сквозняки гоняют по этажам целебный воздух, крепко настоянный на фармацевтических запахах. Дыша этим бальзамом, пациент, сумевший доковылять до поликлиники, просто обязан, если не выздороветь окончательно, то уж непременно почувствовать себя много лучше. Да что воздух, когда один вид белых, серьезно накрахмаленных халатов, в коих стремительно снуют по коридорам многочисленные медработники, лечит.

Лабиринты поликлиники, сообразуясь со специфичностью заведения, наводят на мысли о строении желудочно-кишечного тракта. В аппендиксе хирургического отделениялюдно, но тихо и покойно. Пациенты, рассевшись по кушеткам, расставленным вдоль зеленых стен, ведут негромкие беседы на медицинские, разумеется, темы. Перебинтованные, зафиксированные гипсом руки, ноги, головы говорят о том, что все собравшиеся пришли навестить травматолога. Впрочем, сегодня в отделении работает он один.

Как и в любом сообществе людей, волей обстоятельств принужденных проводить длительное время вместе, в очереди есть бесспорный лидер. Не нужно долго присматриваться, чтобы понять: таковым является пожилая пышнотелая женщина в красной кофте, не имеющая видимых повреждений, но общительного характера. Непостижимым образом ей удается контролировать всю довольно многолюдную и размазавшуюся по слепой кишке очередь. Именно стара-

ниями этой славной женщины обеспечен и поддерживается порядок, достойный показательного воинского подразделения: каждый увечный закреплен за впередистоящим, к нему, в свою очередь, приставлен следующий и так далее. Вновь прибывшим лидер самолично указывает, за кем им следует держаться и где сидеть или стоять, дабы не ломать кропотливо взлелеянный общественно-медицинский строй. Даже мужчины, которые, как известно, не могут более получаса обходиться без курева, не матерясь при этом сквозь зубы, отлучаясь на перекур, как бы спрашивают разрешения начальницы очереди, а возвратившись, докладывают: явился, мол, жду дальнейших указаний. Чётко, культурно, организовано.

Пугает мысль: а что же будет, когда, дождавшись своей очереди, эта женщина нанесет визит доктору и отбудет восвояси? Анархия, беспредел и, как следствие, склоки и раздоры!.. Многие из наших соочередников, разумные, но всё же ослабленные духовно и физически приключившимися с ними несчастьями люди, могут запросто из хирургического отделения перебраться в неврологическое. Думать об этом мучительно.

В конце коридора, на фоне закатного окна, появляется странно шаркающая процессия. По мере приближения видно, что центральной фигурой является худой высокий старик, суетливо поддерживаемый под локотки двумя молодыми людьми – мужчиной и женщиной. Передвигается старик маленькими, невнятными шажками, сопровождая их ритмичным потряхиванием мумифицированной головы. Перед собой, гордо, как флаг, он несёт на вытянутой руке большой палец, наспех замотанный пестрой тряпицей. Взгляд старика обращен внутрь себя давешнего, теперешнюю реальность он

воспринимает как неизбежность исключительно через этот самый палец, который, судя по всему, болит. На лицах, вероятно, внуков явственно пропечатана нетерпеливая досада.

Начальница очереди, завидев приближающуюся группу, отдает несколько коротких распоряжений и легонько двигает обширным корпусом сидящих на кушетке. Сидевший крайним, погрузившийся в книгу парень с забинтованной на манер велошлема головой недоуменно хлопается на пол.

– Сюда, сюда сажайте, – покровительственно говорит краснокофтый лидер.

– Да мы... Ветеран он... – почему-то стыдливо лепечет внучка и, поняв по лицам очередников, что подобное заявление в корне ничего не меняет, подталкивает деда в образовавшуюся на кушетке щель между заботливой гражданкой и мужичком, обладателем, как уже известно очереди, резаной раны предплечья.

Старик водружен на отведенное место, закреплен за рыжеволосой девушкой, бережно, будто новорожденного первенца, прижимающей к груди упакованную в гипс руку. Провожатые, оценив обстановку и прикинув, что ждать придётся никак не меньше двух часов, удаляются.

– Ольга Васильевна-то как? – поворачивается краснокофтая к женщине справа, продолжая беседу, прерванную организационными делами по постановке на учёт старика с пальцем. – Сто лет уже прошло. Помню, когда к тебе после уроков заходили, так она всегда меня клубничным вареньем угощала. Очень милая женщина.

Собеседница тяжело вздыхает:

– Ох, Валечка, измучила она нас. Из ума-то давно выжила, да вот, поди ж ты, всё топчется, покоя ей нет. Хуже дитя

малого: «Это я не хочу, то я не буду. А платье на меня наденьте то самое, в каком Петеньку, мужа незабвенного, на фронт провожала...» Да эту тряпку ветхозаветную в руки брать страшно! Её даже моль не жрёт, пылью веков отравиться боится.

– Да, со стариками трудно, хлопотно, – соглашается Валечка, при этом кивком направляя двух подчиненных добровольцев наперерез попытавшемуся проскочить без очереди гражданину на костылях. – Моя-то матушка давно упокоилась, царствие ей небесное. А Ольге Васильевне сколько ж стукнуло?

– А кто считает-то? По паспорту, вроде, девяносто семь или девяносто восемь, а на самом деле так и все сто пятьдесят. Представляешь, она Керенского помнит. Приковыляет вечером на кухню, растопырится в дверях и давай рассказывать. А кому это теперь нужно? Она, конечно, больше лежит, слабая стала, но помирать точно ещё лет пятьдесят не собирается. Каждый день к обеду стопку водки требует, а от этого ещё несносней делается: внукам житья не даёт, кошечку нашу обижает. А стирки на неё сколько, а уборки. Жилплощадь опять же занимает. На неё одну все горбатимся. Муж теперь с работы только ночевать и приходит. «Могу, – говорит, – с этим динозавром в одной квартире находится, только когда он почивать изволит». Прямо беда. Скорей бы уж Господь её прибрал.

Вид у женщины действительно несчастный, и монолог этот выплескивается из неё, как перебродившее сусло. Участиливо впитывавшая излияния Валечка говорит, понижая голос:

– Я тебя научу. Знаешь, как от чеченской водки народ мрёт? Вот и подсунь ей. И греха большого не будет – пожила, слава Богу...

В разговор врывается рыжеволосая девушка с гипсом, она стоит напротив и всё слышит:

– Да как вам не стыдно! Вы же сами пожилая женщина! Это же преступление! А ещё Бога поминаете!..

– А ты, милочка, не лезь не в своё дело, – осаживает начальница очереди. – Умные дюже стали. Преступление – это, когда вы по подъездам наркотиками колетесь, а потом уродов плодите. Ишь, Богом попрекает, сопля зелёная! А немощных стариков надо всех умерщвлять – им уже самим жить тошно. И закон такой принять: перестал пользу приносить – не мешай другим. Это же акт гуманности. Верно, товарищи?

Очередь давно вникла в суть разговора и, обнаруживая – о, ужас! – редкое единодушие, начинает живо обсуждать способы убиения неизвестной им доселе Ольги Васильевны...

Рыжеволосая девушка убежала, давась слезами и обнимая загипсованную руку, – гипс она снимет дома и, наверное, будет долго ещё бояться ходить в поликлинику, ездить в автобусе и, вообще, оказываться в местах, где люди собираются для вынужденного безделья.

Валечкина знакомая испугана и тоже порывается уйти – ей обреченная Ольга Васильевна доводится как никак всё же родственницей.

Не принимает участия в дебатах и старик, прибывший последним. Впрочем, несмотря на отрешенный вид, он продолжает мелко трясти головой, как бы одобряя каждое слово, а выставленный вперед и вверх большой палец тоже, вероятно, что-то означает.

ВИРУС

Еду в троллейбусе. Тесно, но атмосфера – то ли по причине выходного дня, то ли солнечной погоды – радостная. Непривычно культурная какая-то. «Передайте, пожалуйста, на билет», «Извините, вы не будете выходить?», «Присаживайтесь, я подвинусь», «Давайте поменяемся местами» – мягко шелестит по салону. Даже кондукторша, восседающая на возвышении, обилечивая пассажиров, вворачивает «пожалуйста – спасибо» в самые неподходящие места. Водитель приятным баритоном телевизионного диктора объявляет остановки. Все, а не через одну.

Преодолевая тесноту, в душу проникает и прочно там обосновывается уверенность в завтрашнем дне. Хочется делать добрые дела: ещё раз оплатить проезд или сказать что-нибудь приятное девушке, плотно притёртой к моему боку. Сказать, вроде, нечего, ограничиваюсь подбадривающей улыбкой. Девушка в ответ улыбается немного смущенно: извините, мол, давка. Едем в полном равновесии лёгких душ и потных тел, единым организмом, привычно встряхиваемым на неровностях дороги. На остановках троллейбус выдыхает одних пассажиров и всасывает других, обновляя организм. И тот не отторгает – принимает и растворяет!

Очередная остановка являет нам дамочку средних лет и, отнюдь, не средних размеров, прилично одетую, с хозяйственной сумкой в руках. Ей жарко, и, едва утвердившись на новом месте, она начинает стаскивать с себя теплую кофту. Ограниченность салонного пространства жутко мешает вновь прибывшей, и дамочка негромко смакует обычные

в таких случаях метафорические высказывания. Высокий мужчина в очках, стараясь облегчить её страдания, проворно открывает люк в крыше троллейбуса. Освежающая струя весело скачет по головам пассажиров. Организм здоров и функционирует нормально.

Но нет. Дамочка с сумкой, не успев дожевать претензии к духоте и тесноте, начинает немедленно одеваться, направляя негодование уже на конкретный объект – мужчину в очках:

– Чего распахнул? Не хватало ещё летом какой-нибудь вирус подцепить. И ещё, инфузория, улыбается!..

Укол нанесен, но необходимо развить атаку, закрепить превосходство, и дамочка делает это изящно, с выражением выплевывая:

– Глиста очковая!..

Очкарик, не понимая, за что его так принародно, продолжает улыбаться, на всякий случай поправляя указательным пальцем предмет оскорбления. Этот интеллигентский жест ярит скандалисту сильнее, нежели не пролезающая в рукав кофты хозяйственная сумка. И сразу выясняется, что старушка, до сих пор мирно дремавшая, повиснув на поручне, стоит неправильно, и следовало бы ей «сдвинуть мощи, чтоб людям не мешать», и что мужики рабочего вида, минуту назад беззлобно хохмившие с миловидной женщиной, «нажрут с утра и катаются, перегаром травят», а сама миловидная особа «мымра затасканная». И много чего ещё узнаём мы друг о друге.

Всё. Организм заболел. И вот уже симптоматично доносится с задней площадки:

– Куда прёшь?! Сними рюкзак-то!..

А с передней:

– Заткните своего ребенка, уже уши болят!..

– Что ты меня удостоверением тычешь! – истерично вопит кондукторша, вцепившись обеими руками в щедеушно-го старичка. – Плати за проезд, а то в милицию сдам!..

Очкарик, нервно хлопая крышкой люка и тут же распахивая её снова, неумело швыряет в дамочку, так и не сумевшую до конца одеть кофту:

– Сама ты вирус...

Больше ругательных слов в его лексиконе нет, и очкарик горестно умолкает...

Вредоносная дамочка давно уже вышла на своей остановке, а троллейбус катится, бурля и пузырясь, как молодое вино, – пузыри то и дело лопаются в разных концах салона, обдавая окружающих грязью и зловонием.

Прижатая ко мне девушка вдруг хлопает прицельным выстрелом:

– Мужчина, уберите сумку, все коленки исцарапали!..

От меня незамедлительно рикошетит:

– В такси надо ездить с коленками...

Едем дальше, чихая нетерпимостью, кашляя руганью.



КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА

Улица Первая Курская. Самый конец. Так называемое «кольцо» трамвая четвертого маршрута. Внутри «кольца», на травке, привязанные чуть ли не к рельсам, пасутся козы. Из расположенной рядом психбольницы для уголовников доносятся хоровое пение. Стройное, в общем, красивое пение. Видать, готовятся к смотру художественной самодеятельности. Напротив, по другую сторону стального пути, – настороженно притаившаяся школа. Занятия идут уже третий день, и школьники начали понемногу отвыкать от летних каникул.

На конечной остановке трамвая женщина средних лет и интеллигентной наружности ждёт редких покупателей семечек, небольшой мешочек которых растёкся по табуретке. Ожидание скрашивается обменом мнениями с пожилым мужчиной о вчерашней серии телефильма «Каменская». У ног женщины пристроилась черно-белая собачка, деловито, без жадности поглощающая семечки, которые продавщица время от времени щепотками бросает на землю.

Трамвайный звонок вспарывает тишину осеннего дня и долго верещит на одной ноте. Друг против друга стоят: коза – прочно упершись в шпалы всеми четырьмя копытами, нагнув рогатую голову и тупо глядя в разные стороны; трамвай – опешив от подобной наглости. Кажется, он обалдело хлопает фарами. Победа пока за козой – на истеричные звонки она не реагирует.

Из вагона выскакивает молоденькая вагоновожатая и, ухватившись за веревку, с причитаниями тянет животину с пути. Безрезультатно. На помощь приходит кондукторша:

сдвинув за спину позвякивающую сумку, мощным пинком она отправляет козу в кювет. Та даже не обижается – видно, такой язык понятен ей более всего. Путь свободен. Трамвай подтягивается к остановке уже пустым – пассажиры покинули его во время козьего конфликта. Разбрелись по своим делам, не оглядываясь, – привыкли.

Из глубины улицы, где разночинные домишки громоздятся один на другой, приковыляла старушка с клюкой. Потихоньку перевалив внутрь стального «кольца», она принялась переставлять коз на другое место, где травка посочней. Натужно выдергивает из земли колья и, отойдя в сторону, забивает их обломком кирпича снова. Сил не хватает. Козы выдирают свежезабитые колышки и бодаются промеж собой, не стремясь, впрочем, покинуть пределы пастбища.

Народу на остановке собралось человек пятнадцать. Делать особо нечего, и все с интересом наблюдают за мытарствами старушки. Трамвай, позвякивая, умчался прочь, так и не открыв дверей. Народ погрозил вслед кулаком и принялся ждать следующий. Терпеливый у нас народ.

Со стороны почты вразвалку подошла тётка с большой сумкой. Никто и не обратил бы на неё внимания, влейся тётка в спокойные ряды ожидающих. Но она вдруг срывается с места и бежит к старушке, воюющей с козами.

– Как дала бы сейчас сумкой-то по башке! – кричит она, подбегая. – Чего ты с ними вожжаешься?! На что они тебе?

– Дык, внуки же, правнуки... – бормочет старушка. – Хорошо молочка-то...

– Тыщу раз тебе говорила: продай их к чертовой матери! Сил-то – два раза чихнуть осталось. И где они, твои правнуки? Нужна ты им?

– Санечка навещает, как же... – не сдаётся старушка.

Из-за поворота вырывается трамвайный вагон, и тётка, досадливо махнув рукой, спешит к остановке. Народные массы приходят в движение, придвигаются ближе к полотну – надо успеть занять места в вагоне. Опасения понятны: из школы вырвалась толпа младшеклассников и стремительно несётся к остановке, сметая всё на своём пути. Нет сомнений, эти прорвутся в вагон «по трупам». Сумятицы добавляет собачонка, обожравшаяся семечками: она вскакивает с места и начинает весело лаять в сторону приближающегося трамвая.

Трамвай скрипит тормозами. Школьники, улюлюкая, прибавляют ходу. Собака брешет. Народ волнуется.

Трамвайные двери, лязгнув, открываются. Начинается сутолока: прибывшие пытаются выйти, желающие уехать – войти. Несмотря на то, что последних больше, побеждают те, что выходят, – они атакуют сверху, с трамвайной подножки.

Среди прибывших из вагона вываливается молодой парень нагловатого вида с бутылкой пива в руке. Разогретый борьбой при дверях и потому весёлый, он смачно, с отяжкой, поддаёт остроносым ботинком радостную собачку. Отчаянно скуля, собака отлетает в угол остановочного павильона, под лавку, тут же вскакивает и с яростным лаем бросается на обидчика. Получает ещё удар и бросается снова. Не ожидавший подобной негибамости от какой-то твари, парень роняет пивную бутылку и звереет. Удары теперь сыплются на бедную собачонку с частотой пневматического кузнечного молота.

Опрокинув табуретку с семечками, на защиту животного спешит продавщица. Она храбро втискивается между слепым от ярости парнем и полуживой, но не сломленной собакой.

– Не бей! Не бей! Не бей!.. – кричит женщина.

Парень, грязно выругавшись, с трудом заставляет себя притормозить.

– Она кидается, а я смотреть должен, да? – он так и произносит: «кидается», с ударением на первый слог. – Твоя псина? Забирай и проваливай, пока тебя вместе с ней под трамвай не сунул!

Парень вальяжно направляется к магазину, на ходу подняв с земли мешок с остатками семечек и пересыпав их себе в карман. Победитель.

– Вот и Санечка приехал... – тихо произносит тётка с сумкой, глядя в окно из трамвая.

Трамвай, противно скрипя колесами на повороте, отбывает. Мимо окон слева проплывает старушка, судорожно сжимающая в опущенных руках веревку с козой, справа – стена тюремной психушки, из-за которой мощно доносится:

Москва! Звонят колокола!

Москва! Златые купола!...



ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

Мама сегодня приготовила лапшу. Она называет её «свойской». В тарелке аппетитно топорщатся куриные крылышки, желтоватый прозрачный бульон духовит, в кружочках жира, как в спасательных кругах, плавают листики петрушки. А запах!..

Я часто обедаю у родителей, потому что работаю в двенадцати минутах езды на трамвае от их дома. Работа у меня не то чтобы суматошная, но непредсказуемая, и приезжать на обед к родителям каждый день не получается. Мама беспокоится, даже обижается, когда я не появляюсь несколько дней.

Мы сидим на кухне у большого окна. Мама, привалившись спиной к беспокойно журчащему АГВ, смотрит, как я ем, и с тревогой спрашивает:

– Вкусная лапшичка?

Тут надо обязательно похвалить её стряпню. Впрочем, крикнуть душой не приходится – угощение у мамы всегда на высоте.

В доме тихо и тепло. С улицы носом в стекло тычется дворовый пёс Мишка. Рыжая мордашка с умными глазами приветливо-просительна. Мама, улыбаясь, грозит ему пальцем. Это самое страшное наказание для пса. Он хмурится, прыгивает с завалинки и, поджав мохнатый хвост, трусит в свою конуру.

Мишка – пёс чрезвычайно обидчивый. Когда, ещё в под-
ростковом возрасте, его пытались посадить на цепь, щенок

просто обиделся на весь мир. Неделю он отвергал самую вкусную еду и отказывался от любого общения. Отец, выдерживая характер, нипочём не хотел возвращать ему свободу. И только после того, как в гости к бабушке с дедушкой пришла моя дочка и со слезами в глазах заявила: «Вы лишаете ребёнка детства!», Мишка был амнистирован и освобождён уже пожизненно.

Отец лежит на диване в комнате напротив кухни. Послеобеденный отдых с кроссвордом у него называется на детсадовский манер – «тихий час».

Отец у меня большой придумщик. Неинтересно ему жить, что-то делать, как все. К любой работе он подходит творчески, но не усложняя её всякими ненужными измыслами, а рационально упрощая, механизуя процесс. Всю жизнь отец работал слесарем и, мне кажется, умеет всё. Когда пришла пора выходить на пенсию, то писать копию его трудовой книжки посадили меня – почерк, дескать, красивше. Как я был горд, аккуратно перенося на тетрадный лист сведения о поощрениях: за рационализаторское предложение, за изобретение, за внедрение!.. И опять, и снова. Началось всё это медалью «За доблестный труд». В трудовой книжке имелось несколько многостраничных вкладышей – вместить все отцовские достижения она просто не могла. Покажите мне ещё слесаря с такой трудовой книжкой!

Мама всё беспокоится:

– Крутовато я лапшу замесила – не смогла раскатать как следует...

Отец, не отрываясь от кроссворда, то ли в шутку, то ли всерьёз говорит:

– Всё тебя учить. Между двух досок тесто своё положи – и на дорогу. Раскатают в папирус.

– Это только ты у нас такой умный, – обиженно произносит мама и вдруг оживает:

– Ой, сынок, чего дед-то недавно учудил. Вроде, во дворе всё топтался, а потом, смотрю – нету. Подождала, подождала и за калитку вышла. Стоит. На той стороне улицы. Высматривает. Увидел что-то вдали, засуетился. Железюку какую-то из кустов вытаскивает и на дорогу – бряк! А там машина идёт. Шофёр-то, наверно, видел – затормозил и железюку объехал. Дед ему вслед плюнул, а конструкцию свою опять в кусты пристроил. Снова машина, и опять он под неё «бомбу» подкладывает. Ну дед! Прямо диверсант. Я стою, боюсь, его бить начнут...

– Да что ты хоть, мать, – отец откладывает кроссворд. – Лист оцинкованный распрямить надо было...

– Потом-то я поняла. И шофёр – наверно, только четвертый – тоже понял, что от него требуется. Аж два раза проехал, я видела. А первые трое сколько страху натерпелись?

– Да ладно... – вяло говорит отец. – Что-то засыпаю, пойду проветрюсь.

– Иди, иди. Не подорви никого, – ехидничает мама и уже вдогонку кричит: – Оденься потеплей!

Отец, нахлобучив шапку, но, несмотря на ноябрь, в довольно легкой куртке, опираясь на палку, уже выходит за калитку.

– Ох, уж этот дед... – беззлобно ворчит мама.

Отец любит прогуляться по родной Грузовой улице: ходит, смотрит, встретит кого-нибудь – поговорит, поможет. Его здесь все знают. Бывает, позвонится незнакомый мужик, спро-

сит: «А Володя (это он отца) дома? Вы скажите ему, что Николай заходил. Я за грибами еду – если наберу, то и вам принесу». Видя мамино недоумение, добавит: «Он мне кастрюлю запаял. А ещё ведро починить надо». В таком вот духе.

Пора, однако, и мне. Я уже допиваю чай с яблочным пирогом, лезу в карман за папиросами.

Мама, скорей по привычке, не надеясь уже, говорит:

– Бросай, сынок, курить...

– Брошу, ма, – отводя глаза, вру я. – Обязательно.

Провожая меня до двери, мама заглядывает в глаза и спрашивает:

– Завтра придёшь? Я плов приготовлю.

Мама забыла, что завтра суббота – у меня выходной день, а значит, и обеденного перерыва не будет. Но она-то знает: не только вкусная еда влечет меня в этот дом. Я тоже отсюда родом.



«МУСОРНЫЙ ДЕНЬ»

Что такое «мусорный день»? «Мусорный день» – это почти как праздник. Во всяком случае, так его ждут. А случается он раз в неделю – у нас это воскресенье. Именно в этот день по улице сверху вниз неторопливо, с длинными остановками, проезжает мусоровоз. Давно уже кем-то определены конкретные места, где грохочущая и дребезжащая машина останавливается, водитель как бы нехотя выкарабкивается из кабины, с глубокомысленным видом манипулирует рычагами сбоку кузова, и огромная шарнирная рука ставит на землю мусорный контейнер. А народ уже давно собран, организован и сплочен. Впрочем, по порядку.

Мусоровоз проводит тотальную чистку улицы примерно с часу до трех дня. Но ещё до полудня над нашей дверью визгливо кричит звонок: в калитку, боясь собаки, которой давно нет, просовывается соседка тетя Надя и торжественно возвещает:

– Сегодня – мусор!

Об этом никто не забывал, но соседку всё равно благодарят за хорошую весть. Ещё полчаса спустя отец начинает собираться.

– Пойду, – говорит, – на пост.

Мама возмущается:

– Куда ты? Только половина первого. Тебе что, до поста полчаса идти что ли?

Но это нужно понимать, этого события целую неделю ждала вся улица, на которой сегодня необычайнолюдно. Не удаляясь от своих калиток, прохаживаются разно одетые обыватели. Кое-кто уже вынес и поставил – пока на этой стороне

улицы – пластиковые вёдра, оцинкованные выварки, полиэтиленовые пакеты с мусором. Все поочередно подходят к проезжей части и напряжённо всматриваются вдаль. Народ пока разогревается общением с непосредственными соседями.

Другой наш сосед, Борис, выходит как всегда в сопровождении собачонки – сегодня это черно-белая Муха, значит, Жучка была в прошлый раз. Борис озабоченно спрашивает:

– Будет сегодня, не знаешь?

Отец не знает, но говорит, что нужно надеяться. Они начинают лениво обсуждать различные бытовые надобности. Муха, не очень-то обращая внимание на пристающего уличного кобеля, живо интересуется содержимым чужих мусорных ведёрок.

Ближе к часу народ, прихватив свои ёмкости с мусором, начинает перетекать на другую сторону улицы, к месту остановки мусоровоза.

Вот тут-то и разворачивается действие, ради которого, собственно, все и собрались, – живое общение по полной программе. Кумушки, в обычные дни не имеющие причин встретиться для обсуждения свежеиспеченных новостей, собираются в небольшие группки и буквально рвут эти самые новости друг у друга изо рта. Хвастаются зятями, прикупившими автомобили, шубы их дочкам, хрустальные люстры и кухонные комбайны. Проклинают зятьёв пьющих и нерадивых. Осуждают беспутную Нинку, заведшую «нового хахаля», и Верку-дуру, от которой сбежал «мужик-золото».

– Петрович, выпьешь? – это мужики уже расположились на крылечке одного из домов поблизости. Здесь беседы ведутся традиционно о «правильной политике президента»,

о том, что «шуку лучше брать в половодье, по мутной воде», о том, что «Спартак» вчера облажался не по-детски». По кругу ходит одинокий стакан, зато закуска припасена у каждого.

Прираилась, тяжело опираясь на клюку, древняя бабка из углового дома. В пластмассовом ведре погромыхивает коробка из-под кефира. Подошла к очередному впередсмотрящему, прошамкала беззубым ртом:

– Не видать, сынок?

Получив отрицательный ответ, поудобней упёрлась хилой грудью в свою клюшку и заснула этакой треногой.

Подтянулась и ребятня, которой нет дела до собственно мусора, но раз уж собрался народ, стало быть, будет весело. Гомонят, «салки» затеяли.

Настроение праздничное, сравнимое разве только с атмосферой майских демонстраций прошлых времён, когда люди вот также выходили из домов утром и, прежде чем отправиться по своим конторам и построиться в колонны, кучковались на родной улице, выпивали, шутили – общались, словом.

– Едет!!! – сверху вниз прокатилось по улице.

На секунду, вздрогнув, приостановилась ребятня, подобрались и теснее сплотили ряды взрослые. Действительно, в конце улицы, круто уходящей вверх, к вокзалу, показался трудно ещё различимый, но безошибочно узнаваемый мусоровоз.

Убедившись в неотвратимой близости апогея праздника, граждане возобновили разговоры, которые сделались более оживлёнными. Мальчишки с новой силой продолжили беготню и чуть не сшибли старушку, повисшую на клюке. Ведро с грохотом покатило по асфальту проезжей части, потеряв на ходу кефирную коробку.

– А ну, цыть! – неожиданно громко и грозно крикнула проснувшаяся бабка и, будто спохватившись, едва слышно проскрипела, неизвестно к кому обращаясь: – Не видать, сынок?

Ведро тут же вернули, сунув туда одинокую коробку.

– Видать, бабка, видать, – за всех ответил Николай из дома, что напротив нашего. – Уже на Индустриальном стоит.

Следующее после Индустриального переуллка место остановки мусоровоза – наше. Тут уже из калиток начинают выглядывать те, кто до сих пор отсиживался дома. Это, которые или не в ладах с улицей, или молодые домохозяйки, коим с общественностью поделиться ещё нечем.

И вот мусоровоз скрипит тормозами и тяжело отдувается – прибыл! Контейнер установлен на землю и готов к заполнению. Но...

– Стоять! – громко командует водитель, закрывая грудью мусоровместилище.

Люди с уже занесёнными для броски вёдрами и пакетами удивленно замирают. Только старушка с клюкой, наверно, по причине глухоты деловито ковыляет к контейнеру и вываливает туда свою пресловутую картонку. Завершив ритуал, она не спешит уходить домой, а отходит в сторону и снова повисает на клюке.

– Предупреждаю, – инквизиторским голосом заявляет водитель. – В следующий раз мусор буду принимать только по предъявлению квитанции. Небось, половина из вас не платит.

– Как не платит?! Кто не платит?! – возбуждённо шумит народ. – Все платят!

Люди с мусором напирают, машут руками и брызжут слюной. Интересно, как это «в следующий раз» этот бюрократ собирается защитить контейнер от справедливо возмущенных обывателей, для которых жизненно важно расстаться с накопленными за неделю отходами? Наверно, и сам водитель задался этим вопросом, а может, вспомнил, что для народа он – всего лишь мусорщик, потому что обречённо махнул рукой и отправился в кабину выкурить очередную сигарету.

Началось! Воздух, отяжелевший с прибытием мусоровоза, загустел окончательно от мелькающих пакетов и ведёрок, криков «Посторонись!» и волнами распространяющегося от контейнера амбре. Кто-то в суматохе наступил на Муху. Её отчаянный визг послужил сигналом для начала следующего этапа мусоросдачи.

Нестройно захлопали калитки, из них рванули через трамвайные пути с ведрами те, какие не общительные: и бегут-то неуклюже, как-то бочком, суетливо – не наши люди. Молодые хозяйки семят, стесняясь домашних халатов, которые они одной, свободной, рукой пытаются запахивать на груди и удерживать от распаивания внизу. Получается плохо, дамочки краснеют и готовы провалиться сквозь землю вместе с ведрами.

Трамвайное движение временно остановлено. Вагоновожатый понимает, что стихию не остановить, и даже не пытается нажимать на кнопку звонка – привык. Минимум десять минут трамвай будет стоять, пережидая, пока людской поток, катящийся через рельсы в обоих направлениях, станет жиже.

Контейнер наполняется быстро, граждане сноровисто бегают за новыми партиями отходов, торопясь выбросить всё,

что можно. Те, что поопытней вышли семьями и за одну ходку вынесли, кажется, чуть ли не весь имеющийся у них скарб.

Издалека, сгибаясь под тяжестью полиэтиленового мешка, приплёлся дядя Роман – ему ближе на Индустриальный, но весь мусор сплавить там он не успел.

– Роман, по всей улице собирал? – шутит кто-то.

Водитель уже трижды дергал рычаги, и шарнирная рука размашисто опрокидывала контейнер во чрево мусоровоза. Опыт подсказывает, что четвертого раза не будет – впереди ещё почти пол улицы. Суматоха постепенно гаснет.

– Больше не принимаю! – кричит водитель, вскакивая на подножку. – Учтите, в следующий раз...

Не закончив, он снова досадливо машет рукой, прыгает в кабину и зло рвёт машину с места.

Всё. А народ не расходится. Исчезает лишь суетливое возбуждение, на смену которому приходит благостное удовлетворение: большое дело сделали – надо бы sprыснуть по-настоящему. Что мужики и намерены осуществить, собираясь неподалёку, в тенёчке под липами. Потом кто-то принесёт низкий столик, достанут домино и будут, сдержанно матерясь, стучать костяшками уже дотемна. Женщины тоже не уходят, продолжая делиться впечатлениями о своей и чужой, да вообще – о жизни, в целом нелёгкой, но всё же дарующей редкие радости и оставляющей надежду на будущее, хотя бы в виде чумазных ребятишек, весело скачущих по уютным тротуарам родной улицы.

Заканчивается воскресный день. Заканчивается праздник, не быть которого просто не могло – ведь «все плотют».

ГУЛЯЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ДЕТСТВА

Гуляя по территории детства, то и дело натыкаюсь на вешки, расставленные мною самим много лет назад. Они – как узелки на ниточке памяти, соединяющей меня с той далёкой уже порой.

Вот груша. Каким чудом уцелела между наступающими клином девятиэтажками?

В моём детстве груша росла во дворе аккуратного домика, щеголявшего ярко-синими наличниками. Огромные жёлтые плоды хозяин почему-то не снимал до глубокой осени, и уже по ноябрьскому морозцу мы с ребятами, идя из школы, сбивали их палками и жадно вонзались в студёную сочную мякоть, кривясь от зубной ломоты. Вкус, доложу я вам, был потрясающий даже со скидкой на мальчишескую неприхотливость.

Странное дело: пока дерево растёт в хозяйском дворе, оно развивается, исправно одаривает вкуснейшими плодами, не требуя особой о себе заботы; и стоит только лишить дерево забора, двора, хозяина, как оно стремительно начинает дичать и вырождаться. Так и на моей груше, сиротливо торчащей из асфальта, висят теперь мелкие, даже с виду невкусные плоды.

Здесь проходила грунтовая дорога, неширокая и корявая. Дорогу от дома – а наша девятиэтажка была тогда крайней в квартале – отделял шикарный яблоневый сад. Посмотришь с балкона вниз: качается зеленое море. Сразу за дорогой начинался частный сектор – это уже океан с красными островками крыш летом и подвешенными на высоких прямых дымах печными трубами зимой.

С моего восьмого этажа дорога простреливалась насквозь – боеприпасами служили незрелые яблоки, которые мы с Володькой, неизменным дружкой детства, метали в ковыляющие по ухабам автомобили. Иногда попадали. Простите, автомобилисты тех лет, неразумных пацанов! Не ведали, что творили...

Теперь дорога сожрала половину сада и, гордо выпятив гладкое асфальтовое брюхо, явно желает именоваться проспектом.

А вон и мой балкон, тесно спелёнатый теперь жесткими рамами, лишенный ощущения свободного полёта. Впрочем, давно уже не мой. Дома стоят на месте, а человек бежит по жизни от дома к дому, никогда не зная, какой станет последним.

Особой вехой на моём пути – школа. К ней подхожу с некоторой опаской. Школа нахохливается, насторожённо поблёскивает окнами, отодвигается, оберегая свои теперешние тайны – я для неё уже чужой, один из миллионов бывших её учеников.

С удивлением обнаруживаю, что не помню расположения школьных помещений, и пусти меня сейчас внутрь, беспомощно заблужусь в многочисленных коридорах и переходах, потеряюсь в просторных фойе.

Можно предположить, что за столько лет подвергся реконструкции и преподавательский состав. Ах, Татьяна Алексеевна, ваши уроки литературы не забудутся мной никогда! И никогда больше не встречал я учителей, так самозабвенно отдающихся преподаваемому предмету. Как вы завораживали класс! И что нам Татьяна Ларина – перед нами сгорала от любви к Онегину наша Татьяна!..

Где же вы теперь, Татьяна Алексеевна? Нашёл в телефонном справочнике Сидорову Т. А., но всё не решаюсь позвонить – может, другая. Да и помните ли вы угрюмого парнишку, умудрившегося в восьмом классе получить по литературе восемь двоек подряд? Вы вызывали его к доске, а он просто молчал, глядя в пол. Парнишка теперь взял да и стал каким никаким, а писателем. Он тогда был в вас влюблён, Татьяна Алексеевна. И, может быть, ещё позвонит и прочитает вам стихи.

Примечательно окно на втором этаже школы. Оттуда, из окна мальчишечьего туалета, будучи шестиклассниками, мы с Володькой совершили памятный прыжок в историю школы. Прыгали на снег,нисколько не заботясь, что может оказаться под ним. Какое это безрассудство, понимаю только теперь.

Прыгать готовились пятеро, успели – только двое. Славы прыжки принесли больше, чем ожидалось, поскольку летали мы, как оказалось, недалеко от окон директорского кабинета. Приземлившись первым, я благополучно проскочил обратно в школу. Но на перехват второго парашютиста уже неслись десятиклассники, направленные стремительной директорской рукой. Володька был схвачен, быть может, его даже пытали, потому как спустя полчаса приглашение «на ковёр» получила десантная группа в полном составе, включая тех, кто прыгнуть не успел.

Прецедентов случай не имел, и приказ о строгих выговорах, красовавшийся на школьной доске объявлений, только раздувал очаг нашей гордости.

Школьная спортплощадка – место постоянного обитания детворы прошлых лет. Вечерами с ранней весны и до позд-

ней осени мы собирались на футбольном поле, сговариваясь, делились на команды и валтузили выдавший виды мяч до тех пор, пока его можно было различать в сгустившихся сумерках.

Играли самозабвенно: толкались, чем только можно, шлёпались в подкатах, протирая многострадальные штаны, лупили не только по мячу, но и по ногам соперников и партнёров. Обид, по большому счёту, не было – на волне азарта вспыхивали сумбурные потасовки и тут же гасли, не способные привести в отношения жестокость.

С наступлением морозов школьный физрук, хрипло покрикивая на старшеклассников, руководил установкой на футбольном поле хоккейной коробки и заливкой льда. Наступала пора зимних развлечений.

По выходным дням устраивались уже хоккейные баталии. А вечером в жёлтом свете мощного прожектора, тарасившего циклопий глаз с крыши школы, коробка превращалась в мирный каток: по кругу, строго против часовой стрелки, парочками катались девочки, в полном соответствии законам броуновского движения шныряли пацаны, у бортов барахталась малышня...

Ныне спортплощадка представляет собой зрелище весьма унылое.

Времена, известно, меняются, но однажды они поменялись разом и кардинально. Можно находить сколько угодно причин теперешнего положения дел, и все они будут казаться объективными, но понятия «физкультура, спорт» и «дети» разведены, похоже, в разные стороны на расстояние едва ли теперь преодолимое.

Не видать детворы на спортплощадке. Хоккейную коробку перестали снимать на лето, и получился некий симбиоз хоккейного поля с футбольными воротами. Брошенный, не в силах бороться с незаметным, но неумолимым давлением времени, он дошёл до состояния доисторического монстра: поведённые резкими зигзагами борта щерятся бесчисленными брешами и тяжело несут на себе яркие надписи содержания отнюдь не спортивного, футбольные ворота круто накренились, будто бы от сильного ветра.

И самое дивное: внутри хоккейно-футбольного уродца процветает и благоденствует высокая, по пояс, трава: лебеда, полынь и прочая, никем ныне не вытаптываемая.

Новый физрук, движимый одному ему понятными идеями, привёз на спортплощадку и вкопал в землю огромное количество автомобильных покрышек и даже самолично покрасил их в яркие – жёлтые, синие, красные – цвета. Что с ними делать дальше, физрук, видимо, забыл, а может, и он покинул малохлебные школьные коридоры в поисках лучшей доли. И растворился в сутолоке стремительно демократизирующегося общества.

Так или иначе, но теперь покрышки служат подрастающему поколению по-своему: в летнем бархате вечеров здесь частенько собираются группки молодых людей обо-его пола, облачённых в мешковатые одежды, бодро выпивающих, дымящих странно пахнущими папиросками и отчаянно сквернословящих. Их, как и собачников, в сумерках подтягивающихся к спортплощадке со своими питомцами, обхожу стороной – не потому, что уж очень боюсь, а в силу инстинктивного желания избежать конфликта.

Иду дальше. Школа смотрит мне в спину красными закатными окнами. Улицы, переулки несут те же названия, что и прежде. Изменился, порой до неузнаваемости, их внешний облик: старые улицы сбросили лоскутные обноски обветшавших домишек и облачились согласно моде в строгие костюмы современных многоэтажек.

Заветных проходов и пролазов, служивших когда-то путями детства, уже нет, но заблудиться не рискую – ноги сами ведут в нужные места, к расставленным давным-давно вехам.

С пониманием невозвратности, неповторимости прожитого в сердце поселяется тёплая боль.

Жизнь – локомотив, на всех парах летящий в неизвестном направлении.

В начале пути неизвестность представляется радостной, полной ярких и неожиданных событий. И приключения не заставляют себя ждать: они проносятся за незамутнённым ещё окошком пёстрой увлекательной чередой.

Когда половина пути позади (ах, как быстро!), понимаешь, что ведёшь состав совсем не ты, стоп-крана нет и в помине, а следом за твоим поездом с такой же скоростью движется направленная Бог знает кем бригада шабашников, споро разбирающих ещё не остывшие рельсы. Они срочно нужны для прокладки другого пути – кто-то уже купил билет и с нетерпением ждёт отправления своего ярко разукрашенного поезда.

А твой локомотив несётся всё быстрее, и пейзаж за окном теперь чаще унылый, не запоминающийся.

Возврата в прошлое нет. Но есть память, и ты тащишь в своей дорожной сумке каждый прожитый день. В сущно-

сти, ты нынешний состоишь из прожитых лет, дней, часов. Ты – твоя память.

Наступит день, когда, в последний раз громыхнув вагонами, твой поезд ткнётся в тупик. Тебя не станет, не станет и твоей памяти. Останется память о тебе, которую недолго, как случайно прихваченный в спешке лишний багаж, будут везти поезда, спешащие по параллельным веткам к своим тупикам, расположенным дальше твоего...

Гуляя по территории детства, даю волю мыслям течь свободно, куда им вздумается. И они текут, светлые и грустные, как дни в начале сентября, текут, плавно огибая жёсткие углы окружающей действительности, взмывая над сегодняшней, такой беспросветной, суетой.

Перед глазами проходят отчётливые, выпуклые картинки давно минувших детских лет. Юность всплывает туманными, размытыми образами, пугающими своей неопределенностью. О недалеком вчерашнем дне задумываюсь, уже ступив на территорию взрослой жизни, которая лежит в соседнем квартале: перешёл дорогу – и ничто не напоминает о детстве.

Уходит из сердца щемящая боль, наваливаются заботы, сам собой ускоряется шаг, и я уже спешу выполнять поставленные задачи, решать возникающие проблемы. Жизнь.



Египтянка

– Жизнь, ребяташки, порой, так вывернет, что диву даёшься, – говорил Семёныч, обращаясь к нам, молодым сотрудникам, вернувшимся в гостиничный номер под утро.

Был он человеком, по нашим меркам, пожилым – за сорок, тогда как любой из нас не дорос ещё до двадцати пяти. В совместную командировку мы попали впервые и мало чего о Семёныче знали, но прислушивались и не спорили, когда это не задевало обострённого молодостью максимализма.

– Я, когда помоложе, тоже прыток был, – продолжал Семёныч, а мы развешивали уши, догадываясь, что читать нравоучения нам никто не собирается. – Тоже с ветки на ветку чижигом скакал и не ждал от судьбы окорота. Даже за границей бывал. Один раз, но мне и того хватило. В Египет сподобился – это вам не Польша-Венгрия, экзотика сплошная. Нет, не тогда, когда мы им дружественную помощь оказывали, а уже потом, когда туда на солнышке погреться ездить стали, вроде как раньше в Крым.

Длинным рублём я к тому времени закарманился лет на двадцать вперёд – двенадцать годков в Нижневартовске нефть качал, полным бирюком жил. Надоело, уволился и рванул к арабам. Полежу, думаю, на горячем песочке, жизнь дальнейшую спланирую.

Прелести египтянские описывать не буду: пальмы там, верблюды, бары, казино – это понятно, теперь, считай, каждый туда два раза в год мотануть может... Наши-то, конечно, и при социализме в африках встречались, только редко... Я вам, как планида моя в том Египте круто изогнулась, расскажу.

Казак я был вольный – ни семьи, ни друзей особых, при деньгах, хоть и не миллионер. Погулять тоже не дурак был – компания, вино, девчонки. Но то здесь, на родине, а там – хожу идиотом, тарабарщины ихней не понимаю, красоты туземные уже обрыдли. В общем, провалялся у моря две недели и затосковал, домой захотелось... А на пляже там, ребятки, ох, не затамиться – грех. Девки хороши – аж зубы сводит! Нет, арабесок-то египетских там не увидишь, а вот любые шведки-германки – это пожалуйста! Ноги километровые, груди голые, остальное тоже... На живот поворачивайся и глаза за тёмными очками зажмуривай – только так от конфуза спасёшься.

Не выдержал я: в последний вечер коньяку полбутылки выдул, иду к дежурному администратору... Это у нас в гостиницах одни бабы работают, у них – только мужики.

Объяснил ему руками, как сумел: нужна, мол, женщина на ночь. Сам глаза прячу – неловко мне какому-то арабу нужды свои – вполне естественные, кстати, – излагать. А он, подлец, скалитя белозубо, усишки свои топорщит и почти по-русски, как, к примеру, нанаец смог бы, отвечает: «Сию секунду».

Может, и послышалось мне, согласен, только он руками замахал, и подошли к нам четверо таких же чумазных. Заворковали по-своему – вроде как, впечатлениями делятся. Стою болваном, слушаю, как они мою личную жизнь обсуждают. Хотел уже плюнуть и идти коньяк допивать, как один из них, в кепке и с фиксой во рту, за рукав меня хватает и тащит куда-то в угол.

Там, в потёмках, на стуле сидит ну совсем девчонка, в платки арабско-национальные закутанная – росточком мелкая, глаза большущие, испуганные.

Этот в кепке велит ей платки разматывать, и... Какая ж красота, ребята, глазам моим явилась!.. Шахиня!.. Чурек этот по имени её звал, только я не понял и про себя назвал Шахерезадой. Сашкой, значит... Девчонкой это она сперва показалась, а тут... Нет, словами я вам рассказать не сумею... В общем, не устоял я.

Арабский сводник с меня двадцать долларов требовал... У них доллары уже тогда ходили, задолго до нас. Я ещё удивился: дёшево...

История казалась нам забавной, мы подталкивали друг друга, перемигивались, цокали языками, выражая восхищение старшим товарищем, но его не перебивали.

– Ну, понятно, случайная связь – непрочная, стыдная, – продолжал Семёныч, не очень-то обращая внимание на наши ужимки. – Утром говорю ей: «Иди домой». А она снова в платки запаковалась, сидит меня глазами ест. Не понимает, вижу. Беру за руку – нежно беру – и вывожу в коридор. Она – в слёзы, лопочет что-то, обратно ко мне в номер рвётся. Может, денег просит? Даю – не берёт. Дела! Нет, думаю, так не пойдёт. Спустился в холл. А мой дежурный уже вахту отстоял – домой намылился. Поймал я его в дверях.

«Что же это, – говорю, – делается? Забирайте свою девчонку назад, нечего провокации устраивать!» Чёрный этот опять лыбится, руками разводит: не знаю, дескать, ничего. Я его за грудки: «Веди, – говорю, – к фиксатому, я ему морду-то подрихтую!» А тот уже сам, как чёртик, откуда-то из подсобки выскочил. Глаз из-под кепки жмурит, жестами спрашивает: «Что, девочка не понравилась?» «Понрави-

лась, – говорю, – очень даже хорошая девочка. Уведите только её из номера моего, я же сполна расплатился». А он... Сперва я тоже не поверил, точнее, не услышал как бы... Так вот, он мне показывает: «Деньги платил – девчонка твоя». Я ему: «Дела мы с ней все поделали, спасибо, забирайте». Не хочет, злится уже... Долго мы с ним друг на дружку слюнями плевались, дошло бы и до драки, если бы какой-то из наших не оттащил меня и суть вопроса не растолковал.

Да-а... Такие вот у них нравы диковатые. Детей понарожают, а кормить-то их чем? Мальчики ещё куда ни шло, а вот девок за людей там не держат. Нет, они, конечно, подрастят, в своём обычае воспитают. Но когда со жратвой совсем туго станет, натурально торгуют женщинами! Не во временное пользование – насовсем... А я-то думал, мне досталась жрица, так сказать, продажной любви!

Семёныч коротко потёр ладонью лысеющий лоб, отхлебнул остывшего чаю и продолжил:

– Я тогда, откровенно скажу, струхнул малость. «Прогоню, – думаю, – и дела мне до этой египтянки нету». Но тот, который наш, обрисовал перспективу её дальнейшую: обратно девчонку не примут даже за деньги, даже в прислуги не возьмут, и будет себя продавать по кабакам, пока не убьют или не изуродуют... Короче, пропала живая душа, и я к этому руку приложил.

Ох, как мне, ребята, захотелось домой, в Нижневартовск – вкалывать с утра до утра, жить без удобств, только бы не приезжать никогда в этот чёртов Египет! И, говорю я вам, сбежал бы малодушно, если бы ещё разок в глаза ей не посмотрел...

Да что тут... Привёз я эту проблему заморскую в Россию. Вместо багажа, вроде. Денег это, конечно, стоило, но дело не в этом. Осеть решил в вашем городе... Хороший городишко – тихий, зелёный. Ну, квартиру купил двухкомнатную, на службу не пыльную, но хлебную пристроился – живу себе. Сашка у меня вроде служанки так и осталась.

С работы прихожу – в доме чистенько, наложница моя на коленях, тапочки мне надевает, к столу накрытому за ручку ведёт... Подготовка – язык проглотить! Сама за спиной стоит, прислуживает. Я ей: «Сашка, сядь поешь». Пристроится на уголку, поклюёт – чисто птичка. И опять на меня глазами бездонными смотрит.

Мужику-то что надо? Почёт и уважение ему надо. И чтоб в дела его не лезли. И уют в дому. Ну и, конечно... это...

Словом, живу, как падишах на каникулах. Только замечаю: домой меня тянет после работы, будто пружина калёная сжимается туже и туже. И Сашка, вижу, ко мне тянется. А от того всё краше делается. Каждую минутку видеть её хочется, как о ней подумаю – такая в груди пустота ёкает, словно на самолёте – в яму...

Семёныч вдруг замолчал, зашмыгал носом, сделал вид, что поперхнулся чаем, потянулся за сигаретами. Закуривая, исподлобья быстро взглянул в нашу сторону.

– Вот так и присушила она меня, ребятки, египтяночка моя, – Семёныч вздохнул, всем видом показывая, что разговор окончен, что он и сам удивлён вдруг нахлынувшей откровенностью, отвернулся, будто и не рассказывал ничего вовсе.

Мы верили и не верили – очень уж неправдоподобной казалась эта история. Хотя... как знать. В любом случае кон-

ца её мы так и не услышали, но знать его хотели непременно, и как только Семёныч вернулся из душа, навалились на него с расспросами.

– А чего ещё-то? – вроде удивился Семёныч. – Я и говорю: никогда не ведаешь, где судьбу найдёшь. Так что, вы, молодёжь, гуляйте пока. А судьба, она сама, когда встретится – вцепится и не отпустит, за собой потащит... И не сделаешь ничего.

Помолчав немного, Семёныч добавил:

– А мы-то с Сашенькой? Живём. Она мне таких пацанов народила!.. Старший школу уже заканчивает... Вот только по-русски так толком и не выучилась. Да беда ли? Мы и без слов друг друга понимаем, потому что – любовь...



По пути

Знакомый мой, Николай Иванович, человек скрупулёзный в делах и помыслах, не лишённый чувства юмора и наделённый чрезвычайной ответственностью перед обществом, потому неженатый, хотя привычки имеет постоянные.

Некогда он каждый год наезжал в благодатный Крым, используя законный отпуск для оздоровления организма и культурного отдыха.

Было это, когда железнодорожные билеты ещё можно было приобретать без предъявления паспорта. Ещё то далёкое время славно тем, что пиво в пивных усталые граждане пили из кружек, а не из пол-литровых банок, как нынче. А на каждом углу стояли и исправно утоляли жажду горожан автоматы с газированной водой. Что примечательно, при каждом из них имелся обыкновенный гранёный стакан, который никуда не исчезал, хотя не был прикован к автомату цепью. Словом, странное было время.

Ездил Николай Иванович к морю всегда в начале июля и останавливался в одном и том же месте: привечала его на постой некая Алевтина Петровна, вдова средних лет, законная владелица небольшого домика в большом крымском поселке на берегу моря.

Как уж там они проводили время, не знаю – а надо заметить, что мой знакомый и тогда был холост и возраст имел тоже средний, – но когда Николай Иванович упоминал в своих рассказах Алевтину Петровну, глаза его делались тёплыми и влажными, туманя толстые стёкла очков, а дыхание заметно учащалось.

Но ни к чему заострять внимание читателя на отношениях этих достойных людей, ибо граждане взрослые и свободные – теперь мы это знаем уже точно – имеют право на личную жизнь. Сам я в подробности отдыха своего знакомого никогда не лез, и читателю, пожалуй, не позволю. Речь пойдёт о другом.

* * *

Билеты Николай Иванович заказал загодя, а в назначенный день собрал нехитрый свой багаж и в хорошем настроении отбыл на вокзал. Пешочком – благо идти недалеко.

Родной город, провожая одного из своих жителей, ласково кивал лохматыми липами, шурился предзакатным солнцем. Милиционеры на перекрестках брали под козырёк. Продавщицы мороженого глядели приветливо, чуть завистливо. Человек едет в отпуск! А куда он едет? Да, конечно же, в Крым! Разумеется, к тёплому морю, жаркому солнцу, кипарисам и персикам!..

Перрон за окошком дёрнулся и медленно поплыл. Николай Иванович расслабился и приготовился к долгому, но приятному ожиданию.

Бог знает почему, но вагон южного поезда был полупустым. Во всяком случае, в купе Николай Иванович ехал один, и это его даже радовало: никто не будет приставать с предложениями выпить «на путь» и непременно затем душевными разговорами.

В окне неторопливо качался родной среднерусский пейзаж со скирдами на горизонте, косарями на взгорках, коровами в луговых низинах.

Забегая вперёд, скажу, что вдовсталь насладиться блаженным одиночеством Николаю Ивановичу было не суждено.

За верхушки елей на горизонте ещё цеплялось не желавшее уходить на покой солнце, а в купе сквозь грязноватое стекло уже вползали мягкие летние сумерки. Проводница, полноватая женщина усталого возраста, уже разносила вечерний чай.

Николай Иванович любил пить чай в поезде. Здесь всё было необычным: вместительный стакан тонкого стекла уютно покачивался в тяжелом мельхиоровом подстаканнике; сахар, упакованный в брикетик с изображением надвигающегося на тебя, как в картине братьев Люмьер, поезда и надписью «Дорожный», казался слаще, чем в обычной, осёдлой, жизни; да и сам чай, заваренный кипятком из вагонного «титана», был, вроде, ароматнее и терпче.

Позвякав в стакане ложечкой, Николай Иванович готовился уже отхлебнуть обжигающего напитка, когда дверь купе со скрежетом отъехала в сторону.

– Здравсьте, – произнесло существо, возникшее в проёме.

Существо оказалось особой женского пола лет тридцати с небольшим. А не разглядел этого сразу Николай Иванович только потому, что женщина со всех сторон была обвешана сумками, над которыми виднелась лишь её голова в повернутой козырьком назад кепке.

Слегка досадуя на нарушительницу его одиночества, Николай Иванович помог ей рассовать бесчисленные сумки по багажным ящикам и сел на своё место, уткнувшись в кроссворд.

Женщина покрутилась возле зеркальной двери и пристроилась напротив попутчика. Помолчав, она сообщила:

– В Курске была, у родственников.

Николай Иванович пожал плечами и покосился на неё поверх очков. Не красавица, но миловидная. Особенно, когда без дурацкой кепки и причёсанная.

– У меня восемнадцатое. У вас какое? – спросила она, сверившись с билетом.

Николай Иванович молча кивнул на стол, где лежал его билет, приготовленный для предъявления проводнице.

Обидевшись, что беседы не получается, попутчица демонстративно отвернулась к окну, за которым становилось всё темнее.

Снова скрежетнула дверь. Отчаянно пыхтя, в неё протиснулась ещё одна женщина, волочившая за собой огромный чемодан на колёсиках.

– Меня сначала в четвёртое, а потом вот к вам! – радостно завопила она, справившись с чемоданом. – Там грузины едут. Трое. А я одна. Я их жуть как боюсь! А теперь к вам...

– Из Курска, от родственников? – строго спросил Николай Иванович, не давая монологу развиваться по круговой системе.

– Да... А вы откуда знаете?.. – опешила словоохотливая.

– У вас девятнадцатое? – напирал Николай Иванович.

Она кивнула уже испуганно и сникла окончательно. Села на край нижней полки возле самой двери и, забыв про чемодан, принялась разглядывать свои ногти.

Николай Иванович забросил торчащий в проходе чемодан на колёсиках в багажный ящик и вышел покурить.

* * *

Возвращаясь из тамбура, он встретил проводницу и хотел уже пройти мимо, но не тут-то было.

– Пассажир, – поймав его за пуговицу, прогнусавила проводница, – билетик я ваш забрала. Постель брать будете? Сейчас принесу.

Дамы в купе сидели уже рядом, нарочито не глядя в сторону Николая Ивановича, что давало тому удобную возможность рассмотреть их внимательно.

Удивительное дело, женщины были похожи друг на друга, словно родные сёстры: приблизительно одного возраста, обе коротко стриженные шатенки, у обеих серые глаза, сейчас светившиеся неприязнью, одинаково вздёрнутые носы одинаково вздрагивали от надменности. Даже блузки у женщин были почти одинаковые: светло-серые в чёрный горох. Сами дамы своей похожести, пожалуй, не замечали, а интуитивно объединились, скорее, против Николая Ивановича.

Со стуком, по-хозяйски, снова распахнулась дверь купе. Высунувшись из-за стопки белья проводница опять спросила:

– Постель брать будете?

– Будем-будем!.. – захолопотали женщины.

Обеспечив обеих бельём и взяв с каждой по рублю, проводница повернулась к Николаю Ивановичу:

– А вы, пассажир?

Почему-то именно к нему она решила прилепить кличку «Пассажир». Ничего обидного в этом не было, но Николай Иванович неожиданно разозлился.

– Давайте. Наволочку и простынь, – холодно сказал он.

– А пододеяльник? – хитро прищурясь, будто в чём-то подозревая коварного пассажира, осведомилась проводница.

– Не надо.

Проводница дёрнула плечом, говоря этим жестом что-то вроде «Как хотите» или «Желание пассажира – закон», пошевелив губами, отслонявила из стопки два предмета белья и небрежно бросила на нижнюю полку. Бельё сыро шлёпнуло по дерматиновому покрытию.

– Рубль, – оценила свои действия проводница.

Николай Иванович порылся в кармане, извлёк горсть мелочи, отсчитал пятьдесят копеек и положил на стол.

Цепко схватив монетки, проводница обиженно заявила:

– Пассажир, ещё полтинник.

– Хватит. Я же не беру пододеяльник.

– Мне какое дело, что вы не берёте? – заверещала проводница. – Бельё в комплекте! Комплект стоит рубль!

– Так, – Николай Иванович расположился поудобней и закинул ногу на ногу. – Давайте считать. Комплект стоит один рубль. В комплекте три предмета. В рубле сто копеек. Материи на простынь и наволочку уходит столько же, что и на пододеяльник, даже чуть меньше. Так?

Мысленно обмерив перечисленные предметы, проводница согласилась.

– Пододеяльник я не беру, тем самым высвобождая его для кого-то другого, – Николай Иванович машинально не сказал «пассажира», быстро привыкнув к тому, что этот ярлык уже его. – Иными словами, я сокращаю расходы вашего ведомства на стирку и глажку данной единицы белья. А учитывая – и вы со мной согласились – то, что пододеяль-

ник всё же больше, а следовательно, и дороже, двух других единиц вместе взятых, то, отдавая вам пятьдесят копеек, я переплачиваю. С какой, позвольте спросить, стати? Верните мне десять копеек.

Проводница шарахнулась к двери и... метнулась обратно, испугавшись своего обалдевшего зеркального отражения.

– Я с вами ещё разберусь, пассажир, – пообещала она, убегая по коридору в сторону своего купе. – Я бригадира позову!

Соседки по купе смотрели на Николая Ивановича, округлив глаза и сидя тихо, как мыши в присутствии кошки. Они даже взяли за руки, чтобы было не так страшно.

Впервые за сегодняшний вечер Николай Иванович улыбнулся.

– Ну что, давайте знакомиться? – весело спросил он. – Меня зовут Николай Иванович. А вы, наверное, Зита и Гита?

Женщины переглянулись и робко заулыбались. Индийское кино они любили.

– Люба, – первой представилась вторая попутчица, которая с чемоданом. Она явно была побойчей.

– Эля, – сказала сидящая у окошка и тут же поправилась: – Эльвира.

– Вот и хорошо. У вас, Люба, верхняя полка? Предлагаю поменяться – я, знаете ли, люблю наверху спать.

– Вы же пожилой... – попыталась сопротивляться Люба, не замечая бестактности своего замечания.

– Пожилой не значит старый, – браво ответил Николай Иванович и вышел на перекур, предоставляя женщинам возможность переодеться.

* * *

Час спустя все втроем пили коньяк, выставленный Николаем Ивановичем, закусывая аппетитными пирожками, извлечёнными из сумки хозяйственной Эльвиры, и весело резались в подкидного «дурачка».

За окном в плотной тьме мелькали редкие фонари, колёса дробно постукивали на стыках, проводница более не докучала. Вагонная жизнь прочно стала в свою колею.

– Какой же вы зануда, Николай Иванович! Ловко вы её, – веселилась нетактичная Люба, имея в виду проводницу. – А их так и надо. Знаете, какие они «бабки» делают на безбилетниках?.. Вы какой туз-то кладёте? Валет бубновый, разве не видите?

– Пардон, пардон. Мы его козырем, – Николай Иванович близоруко щурился. – А проводницу я не хотел обидеть – нашло что-то. Утром извинюсь.

– Ни в коем случае! – горячо возражала Люба. – Пусть знают, с кем имеют дело!

– И простыни у них всегда мокрые... влажные, – по обыкновению Эльвира поправляла сама себя.

– Эля, у вас потрясающие пирожки, – Николай Иванович изо всех сил старался развеять первое впечатление о себе, которое наверняка сложилось у девушек после инцидента с проводницей.

Вскоре утомонились. Николай Иванович не без труда вскарабкался на верхнюю полку и блаженно растянулся на постели. Вагон покачивало, колёса стучали убаюкивающе, внизу уютно шептались, в общем-то, милые попутчицы. Да и бельё было не таким уж сырым...

* * *

Странный шум разбудил Николая Ивановича. Внизу что-то явно двигалось: слышалось сопенье, глухие стуки, всхлипы. Ожидая чего угодно, поэтому стыдливо прячась за край полки, Николай Иванович посмотрел вниз. То, что он увидел, было страшнее самых смелых предположений.

Озаряемые спазматическими всполохами пролетающих за окном фонарей, ужасные в своей решимости, дрались его милые попутчицы. Молча дрались, жестоко.

Если вам скажут, что есть на свете что-то страшнее женской драки – не верьте. Нету. Перед ней меркнут ужасы всех войн и катастроф. От этого зрелища стынут и разрываются сердца у самых мужественных людей. Оно настолько противоестественно, что пытаться оформить его словами бессмысленно.

Николай Иванович слетел с полки, ни на миг не вспомнив о своих подагре и радикулите.

– Девочки, девочки, что же вы делаете, а? – лепетал он, суется возле двери. Больше всего ему хотелось оказаться в другом поезде или вовсе умереть, только бы не видеть, как погибает женское начало мира...

* * *

– Я знала, я знала!.. – удовлетворённо кричала проводница и понижала голос, обращаясь к бригадиру: – Пятое купе... Я вам говорила. Здесь обязательно должно было что-нибудь случиться!

Бригадир поезда, круглый, уютный какой-то мужичок, устало прикрывал глаза и вяло отмахивался:

– Разберёмся.

Он расположился возле просветлевшего уже окна, промокая платком розовую лысину, и, кажется, действительно собирался разобраться.

«Хулиганки» сидели друг против друга красные и решительные. Между ними, на случай возобновления беспорядков, стоял милиционер. Николая Ивановича как единственного очевидца драки выгонять из купе не стали.

– Итак, что случилось? – сначала бригадир направил вопрос в сторону Эльвиры.

– Что случилось! Это вы у меня спрашиваете, что случилось! Это я у вас спрашиваю, почему продаёте билеты всяким жуликам?! Ну вы посмотрите – он у меня спрашивает!..

Николай Иванович мог ожидать такой словесной агрессии от Любы, но никак не от застенчивой Эльвиры, и на всякий случай отодвинулся от неё подальше.

Бригадир утомлённо произнёс:

– Ну что вы кипятитесь, гражданка. Разберёмся. Кто жулик?

– А вот эта, – Эльвира махнула головой в сторону Любы, не глядя на неё.

– Я тебе глазёнки-то выдеру, – пообещала Люба, а милиционер напрягся.

Бригадир поморщился, как от зубной боли, и сказал Любе:

– Помолчите пока. Вашу версию мы заслушаем позже. Продолжайте, – снова обратился он к Эльвире.

– Я уже задремала... Спала уже, как вдруг... Я ж ведь этой гадине спокойной ночи, как дура, пожелала!.. Так вот,

кто-то будто в бок меня толкнул: «Просыпайся», говорит. И точно, вижу: эта воровка в сумке моей под столом шурует, ворует-грабит меня белым днём!..

– Ну, положим, была тёмная ночь, – поправил бригадир.

– Вот-вот, под покровом темноты вершит своё чёрное дело!

– Дальше, – бросил бригадир.

– А дальше, чего уж дальше... Врезала я ей. А кто б на моём месте не врезал? Вы бы врезали, Николай Иванович?

Николай Иванович от неожиданности вздрогнул и промычал что-то невразумительное.

Бригадир с интересом посмотрел в его сторону, будто тоже хотел знать, врезал бы Николай Иванович или нет.

Николай Иванович поспешно отвернулся к окну и стал рассматривать степной пейзаж.

Тем временем бригадир, решив, что с Эльвирой всё ясно, принялся за Любу. Та поджимала губы, бычилась и отвечала неохотно.

– Воровкой меня выставили, ладно. А только не было ничего этого.

– Что, драки не было? – не понял бригадир.

– Драка была – сами видели, а больше ничего не было.

– То есть в сумку этой гражданки вы не лазили?

– Лазили...

– И что?

– А то! – взорвалась вдруг Люба. – А то, что я уснуть два часа не могла – у неё в сумке бутылки друг о дружку брякают, а я заснуть не могу! Вот и полезла поправить...

Все дружно прислушались. Даже молоденький сержант вытянул шею и открыл рот. В сумке под столом брякало до сих пор.

- Любаш, – подала голос Эльвира. – Выходит, я зря тебе синяк поставила?
- Дура ты, Элька. Хоть бы спросила сперва.
- Не обижайся, Люб, я ж спросонья.
- Да ладно.

* * *

Разрешилось всё удачно. Бригадир хотел ссадить женщин с поезда за нарушение общественного порядка, но за них заступился Николай Иванович, пообещав, что больше ничего с ними не приключится, и он за этим лично присмотрит. Смягчилась даже вредная проводница, сказав: «Пусть едут. Бедовые девки – будет что вспомнить».

Отпраздновать примирение подруги пожелали в вагон-ресторане. Звали и Николая Ивановича, но он не пошёл, извинившись: «С вами, девчонки, как-то... стрёмно». Охотно согласились бы сопроводить весёлых женщин грузины из четвёртого купе, но им этого никто не предложил. Да и Эльвира с Любой в конце концов никуда не пошли, а весь оставшийся путь сидели обнявшись, пели песни и признавались друг другу в вечной дружбе.

Поразительная их схожесть продолжила являть чудеса: выяснилось, что они – землячки, то есть живут в почти соседних (что там, полсотни вёрст по степи!) станицах; а за мужем, пусть не за близкими, но всё же родственниками – троюродными братьями, что ли.

Попутчицы сошли в Мелитополе, чмокнув на прощанье смущенного Николая Ивановича в обе щеки. А вскоре и он прибыл к месту назначения.

На этом история, собственно, и закончилась. Остаётся сказать, что отдыхал Николай Иванович в Крыму в последний раз – в этот же год грянули в стране известные события, и Крым сразу стал за границей, недоступной простому служащему.

Трогательная переписка с Алевтиной Петровной рухнула не сразу, не как страна, но постепенно тоже угасла.

Николай Иванович вышел на пенсию и проводит теперь свой заслуженный отдых, копаясь в огородишке в самом центре такой огромной России.



САМОРОДОК

Он подошел ко мне в сумерках. Был тягучий августовский вечер. Я сидел на остановке вблизи своего дома, вовсе не собираясь никуда ехать. Редкие в это время троллейбусы, останавливаясь, чихали дверями просто ради приличия и ползли себе дальше, утомленно покачивая рогами.

Его привёз один из троллейбусов-жуков. Мне показалось, что этот человек вышел, заметив моё присутствие на безлюдной остановке. Некоторое время он стоял в сторонке, вроде бы мной не интересуясь, потом кособоко приблизился.

– Выпить хочешь? – спросил он угрюмо.

Я не хотел, о чём и поведал ему в как можно более вежливой форме, немного опасаясь неприветливого гражданина.

– Надо захотеть, – убежденно сказал странный тип. Глаза из-под кепки смотрели просительно.

Я присмотрелся к нему: вида простого, в возрасте, лет так под пятьдесят, если и выпивши, то совсем немного – среднестатистический, как принято говорить, россиянин.

– Выпить надо, – он наконец объединил две свои первые фразы в более подходящую его мироощущению и достал из бокового кармана пиджака «четвёрку».

Такая настойчивость начинала томить, и я сказал уже грубовато:

– Надо, значит, пей. А я не хочу.

Незнакомец посмотрел на меня с некоторым интересом и одному ему понятными путями вывел умозаключение:

– Ясно. Закодированный, стало быть. Ну, давай я тебе газировки какой-нибудь куплю. Посидим.

– У вас какой-то праздник? – спросил я, морщась от мысли, что всё-таки дал втянуть себя в совершенно ненужную беседу.

– Да вроде того, какой-то, – он выглядел смущенным и растерянным. – Понимаешь, стих мой в газете напечатали.

Настала моя очередь проявить интерес:

– Вы писатель? Поэт?

...Газировки он купил в ларьке здесь же, на остановке. Купил ещё шоколадку – на закуску, выпил водки из пластикового стаканчика. Мы познакомились.

– Да какой там писатель! – восклицал мой новый знакомый почему-то с горечью. – Фрезеровщик я. Раньше-то никогда ничего такого не писал – и в голову не приходило. А тут вдруг – бах! И вот...

Он выдернул из кармана газету, развернул её и стал тыкать туда костистым пальцем.

– Валерке показал, а у него племяш в газете работает...

Незнакомый мне Валерка или его газетчик-племяш, а может, и оба-двое, вкус имели. В свете фонаря и зажигалки, услужливо подставленной фрезеровщиком, я разглядел на газетной полосе среди десятка других и его стихотворение. Надо сказать, что были там и стихи, подписанные именами, известными публике читающей. Однако, насколько я мог судить, стихотворение рабочего выгодно отличалось от произведений маститых. Оно было свежим, неожиданно образным и явственно несло на себе отпечаток таланта автора.

Собеседник мой пребывал в полной прострации то ли от выпитой водки, то ли оттого, что никак не мог связать имя на газетной странице с собой, таким себе знакомым.

Я сдержанно похвалил его строки и спросил, не собирается ли он писать дальше.

– Вот уж делать мне нечего! Я так сопьюсь, нахрен. Сегодня, что, от радости пью, что ли? Ну не понимаю я, как такое случилось! Веришь? Не привык, когда не понимаю...

Проговорив ещё полчаса – о женах, детях, политэкономии, – мы расстались тепло, как добрые друзья. Он, казалось, вздохнул облегченно, потому что нашел нужного собеседника, снял со своих плеч хотя бы часть мучившего его непонимания. А я не стал его убеждать в том, что писать стихи – его призвание, прекрасно зная, к чему это могло бы привести: он начал бы выдавливать из себя в страшных муках строки, рифмы и прочие стихотворные премудрости. Получалось бы, наверняка, в десятки раз хуже того, первого, продиктованного свыше. В результате хороший фрезеровщик лишь пополнил бы тесные ряды армии графоманов, получающих от рифмовки слов удовлетворение сродни сексуальному.

А может быть (ведь может?), эта капризная, своенравная дамочка, муза, когда-нибудь ещё хотя бы раз озарит моего нового знакомого своим чудесным лучом. Тогда мир получит ещё одно хорошее стихотворение.



РЫБАЛОЧНАЯ НОЧЬ

Рыбалка – штука занятная, забористая. Даже, когда удочкой, а если сетями – интерес вдвойне. Некоторые скажут: браконьерничанье – поспорю. Коли сетями самых разных мастей без запрету на базаре торгуют – стало быть, дело легальное и безвредное.

Вообще-то, я не рыбак. Этой болезнью зять мой болеет, а тогда как человек он занятой, на поплавок пялиться некогда, то самое подходящее тут орудие – это уловистая боевая «трёхстенка». Всё своё хлопотное время зять вздыхает о рыбалке, на которую беспричинно круглый год рвётся его больная душа; и раза два-три за лето он решительно рубит концы опутывающих его дел для того, чтобы попытаться рыбацкого счастья, подпитаться речным или, на худой конец, прудовым животворным духом свободы.

В конце апреля взял я отпуск и засобирался на дачу – вскопать, не торопясь, грядки для будущей свёклы-морковки и прочих фруктов. А дача та, товарищи, расположена в местах райских – в Эдеме, считай. Это я всем так говорю, потому что – правда.

Участочек прильнул к берегу камышистого озера: над садовым столиком и скамеечками – навес, рядом – печка-мазанка с крейсерной трубой, за печкой – вода покачивает разные кувшинки с лилиями. Есть, конечно, и домишко с ровными углами да чайной верандой – не хуже, чем у людей. А тамошний труд – сплошной отдых. Покопаешься в чернозёме и блаженствуй в дырчатом гамаке – свежестью с озера веет, лягушиные перекваки баюкают, поверху ра-

киты интимно шушукаются... Никаким другим не видится мне дачный рай!

Только, значит, я собрался и вдруг узнаю, что зять выскреб у своего начальства долгожданный рыбалочный день и направить колёса своего авто думает не куда-нибудь на Моховицу или, скажем, Зушу, а прямёхонько на дачный наш водоём. Чего ж мне тогда трястись электричкой?

День ушёл на приготовления – надо ведь собрать в кучу снасти, снедь, собаку охотничьей породы и двоих комично экипированных зятевых знакомцев. А и правда, не ехать же на рыбалку без хорошей компании. Тут надо заметить, что зять мой – недавно бывший работник кое-каких нештучных органов, а значит, и сорыбальники соответственные – начмед этих самых органов со смешной фамилией Полторашкин и ещё военный, Эдик.

Короче, загрузили в багажник зятевой «Нивы» водки-пива и приехали на дачу к вечеру.

Зять, понятно, бегом к берегу – лодку надувает, сети расправляет. Уплыл.

– Хо-хо-хо! – восхищаясь, ходит по участку толстенький доктор Полторашкин, затянутый в новенький камуфляж.

– Ох-ох-ох, – вздыхает сутулый, как вопросительный знак, Эдик, поддёргивая над несуществующей грязью отутюженные модные брюки.

Полторашкина восхищает всё: и аккуратный, взрыхлённый лопатой под зиму огород, и обнажённая близость воды, и ровенький дачный домик. Особо умиляется, глядя на недостроенный прошлым летом кирпичный нужник округлой формы и водосточную трубу, собранную из раз-

ноцветных пластиковых бутылок, вставленных одна в другую – плоды изобретательского таланта отца.

Начмед живо интересуется:

– Сколько соток участок?

– Было шесть, – говорю. – Вёсен пять на метр-два забор относили, да берег от кустов подчистили – теперь все двенадцать будут.

– В дом-то лезят, воруют?

– А как же, – говорю, – каждую зиму наведываются.

Дверь уж теперь не закрываем – надоело замки менять.

Зять уже сети раскинул, гребёт назад.

– Саня, я тоже хочу покататься! – кричит ему с берега Полтарашкин.

– Вон дедова лодка в кустах – бери и катайся, – заранее не доверяя приятелю, отвечает зять. – К сетям не плавай – порвёшь.

Начмед медведем лезет в прибрежный раkitник, вытаскивать плоскодонку, ловко свёрнутую отцом из оцинкованного листа заместо украденной в прошлую зиму покупной, алюминиевой. Суетливо усаживается, отчаливает под неодобрительное хмыканье Эдика.

Метрах в пяти от берега лодки встречаются. Возбуждённый коротким катаньем Полтарашкин, не может сидеть спокойно, ёрзает, подсакивает и тут же опрокидывается вместе с лодкой. Волной от потерпевшего крушение отшвыривает зятю «резинку», и Полторашкин остаётся утопать в беспомощности. Не утоп. Тут ещё мелко – стоит по грудь в воде с одиноким веслом в руках и ругливо орёт.

Пока зять отыскивает другое весло и буксирует к берегу перевёрнутую посудину, мы с Эдиком вынимаем на сушу мокрого доктора.

– А вода-то холодная, – удивлённо заявляет он. Ещё бы, апрель месяц!

Зятев пёс Чип смотрит на нас как на законченных дураков. В воду он заходил – помочил пятки – и теперь не понимает, как можно добровольно нырять в этакую студень.

Полторашкин канючит водки, но ему не дают. Покуда нет ухи – нет и водки. Пиво – пожалуйста. Доктор согласен и на пиво...

* * *

Ночи уже тёплые, почти майские. Втроём – начмед, собака и я – колдуем возле печки. Обязанности распределены: Полторашкин отвечает за уху, я – за печку, Чип присматривает за нами обоими.

С озера, с наступлением темноты ставшего чёрной бездонной ямой, долетают вёсельные шлепки и приглушённый говор. Это зять с Эдиком выбирают из сетей рыбу. Как они это делают в чернильной тьме – загадка.

У нас, на берегу, светлее. Под навесом горит лампочка в полторы сотни свечей, но и она кажется слабой, потерянной в огромной апрельской ночи.

Кастрюля на печке сыто булькает, постанывает от жара.

– Эх, без ерша не та ушица, – сожалительно вздыхает доктор, ложкой выуживая из кастрюли плотвичек и карасей первого улова. Но, как человек не зловредный, тут же мирится: – Ладно, сойдёт и такая.

– Сойдёт, – соглашаюсь я.

В кастрюлю увесисто плюхается целиковая, не очищенная луковица, с возмущённым шипом сыплется пшёнka.

Не решаясь приблизиться к горючей печке, позади нас топчется Чип – вислые уши подрагивают, нос в чуткости морщится. Вскоре и ему находится забава. Невесть откуда взявшиеся в апреле, не долетевшие ещё до своего месяца, а потому маленько чумные, на нашу лампочку начинают пикировать майские жуки. Много жуков! Проскочив лампочку, они лупятся бестолковыми лбами в большой овальный таз, висящий на раKITном стволе. Цинковое днище гудит от частых ударов, беспамятные жуки толпой валяются на землю, где ими очень интересуется собака. Чип по лошадиному фыркает, обнюхивая взбрыкивающих лапками насекомых, хватает их зубами и, мотая головой, с чихом разбрасывает по сторонам. Таз отражает атаки всё новых и новых оголтелых в своей твердолобости эскадрилий.

Уха почти готова. Почти – это значит, что не хватает главного компонента. Полторашкин резво бежит под навес, с хрустом скручивает голову поллитровке, и добрые двести граммов огненного напитка оказываются в нашем вареве.

Тут уже и начмед начинает вздрагивать ноздрями и беспокойно вглядываться во тьму.

– Саня, где вы? У нас уже всё готово! – пугаясь собственного ночного голоса, кричит он в глубины озера. Не дождавшись ответа, дублирует ещё громче: – Эдик!..

– Чего орёшь? – ворчливым шёпотом где-то рядом откликается невидимый Эдик. – Здесь мы.

Однако ждать приходится ещё не меньше полчаса. Чип, войдя во вкус, уже всю хрустит майскими жуками. Полторашкин, откупоривший очередную бутылку пива, развлекает меня байками из серии «А ещё был в моей практике случай...» Слушать его занимательно – практика у начмеда богатая, но интересней мне всё же смотреть, как в распахнутом зеве печи медленно умирают чёрно-рубиновые угольки...

Улов хорош! Для наглядности он вываливается в таз, так полубившийся жукам. Полуметровая щука ведёт себя индифферентно, будто в неловкости от окружения – десятка истерично бьющих хвостами почти килограммовых карасей. Она изредка позёвывает, показывая, что ещё жива, но смертельно устала, и будь у неё веки, с удовольствием закрыла бы глаза.

Вдруг щука взмётывается, всеми своими несчётными зубами-иголками целясь в Эдика, склонившегося над тазом. От неожиданности Эдик нелепо садится мимо скамейки, но тут же реагирует адекватно, по-военному: пружинно вскочив, принимается молотить извивающуюся рыбину ногами. Едва удаётся оттащить...

– Уха совсем простыла, – суетится доктор. – Подставляйте, подставляйте миски...

– Водку лучше всего из алюминиевой кружки пить, – после щучиной атаки Эдик становится необычайно разговорчивым. – Слышь, булькает смачно как? Из стаканов тоже куда ни шло, а вот чашки эти, чайные, ты убери – не дело это, бульки не те...

Эдик разливает – к сожаленью, алюминиевая кружка нашлась только одна – со знанием дела.

– Майор, а ты спец! – хвалит его Полторашкин.

Духовитая уха улетает за один присест.

– Удалась, – будто удивлённо заключает начмед.

Закуски ещё полно: дощатый стол завален крупно нарезанными кругляшами колбасы, ломтями сала, испортыми консервными банками. Сверху натюрморт припорошен листьями салата и мохнатой петрушкой.

Чип, пристроив скуластую морду на лавку, исподлобья следит за всеми сразу и вздыхает тайно. Кормить собаку может только хозяин. Чип это понимает и провожает поглощаемую нами еду не жадными, а лишь по-собачьи тоскливыми коричневыми глазами.

Главный говорун теперь Эдик, забивает даже балагуристого Полторашкина. Зять у меня вообще молчун, попусту трепаться не станет, а я в их компании всё же немного чужой.

Майор, слегка уже хмельной, напористо травит армейские байки, то и дело перебивая сам себя и возвращаясь к наглой выходке «стервы зубастой».

– Надо же, как она... исподтишка!.. – обиженно вскрикивает он и с ненавистью смотрит в сторону таза.

Зять снова отбывает на добычу рыбы – за ночь он проверит сети ещё пять-шесть раз. Полторашкин с Эдиком остаются под навесом. За бутылкой-другой есть о чём поболтать и с посторонним, чего уж говорить о старых друзьях.

Мне назавтра копать огород, потому собираюсь в дом – спать.

Бархатная ночь деловито мерцает звёздами, откуда-то сбоку вываливается заспанная луна. Всё намекает на ясный завтрашний день. И хорошо.

Чип провожает меня до лестницы, ведущей на веранду, и, кивнув большой своей башкой, будто пожелав спокойной ночи, трусит обратно к берегу...

* * *

Просыпаюсь я от близкого треска. Ночь уже умирает. Щёлкнув ночником, вижу Эдика. Майор стоит посреди комнаты, раскачиваясь с весьма приличной амплитудой, в руках у него дверная створка, которая должна висеть... вон там, где висит теперь одиноко другая...

Эдик криво жмёт плечами, виновато улыбается. Вопросов не задаю – вижу, что говорить он временно не умеет. Выбираюсь из цепких объятий спального мешка и отбираю у Эдика дверь. Лишённый опоры, он с тихим хрюком валится на постель. Остаётся прикрыть истомлённое тело бушлатом.

А на дворе уже светает. На берегу из-под навеса бестолково пялится в утренний сумрак ненужная уже лампочка. Под столом, прикрыв лапами морду, спит Чип. На лавочке лицами к озеру застыли две фигуры. Они молча подвигаются, освобождая место и мне. Сидим втроём плечо к плечу, не в силах оторвать глаз от молодого солнца, медленно выкарабкивающегося из цепких ветвей деревьев на том берегу. Тюлевая шторка тумана растворяется, рваными краями сползает в недвижную воду.

В этот момент жизнь замирает, кажется, на всей земле.

Смотрю украдкой на лица моих товарищей. Двое взрослых, грубых мужиков, успевших побывать на войне и попробовать на вкус всё самое отвратительное, что есть в этом мире, сейчас глядят на рождение дня с поистине детским изумлением. Они сами заново рождаются в этот миг. Они снова чисты, наивны и беззащитны...

Не для того ли и нужны им эти редкие рыбалочные ночи?

РОДНОЕ

Обрывки воспоминаний, путаясь и натыкаясь друг на друга, роятся в усталом мозгу. Все они приблизительно одной поры, но никак не хотят рисоваться чётче, становиться в стройный событийный ряд. Память бессильна. И всеильна, если яркими вспышками всё же высвечивает эти давние мгновения жизни...

* * *

Душный, добела раскалённый июль. Бабушка в сарае варит варенье. Вишнёвое, моё любимое. Сарай приспособлен под летнюю кухню, и дышать в нём сейчас нечем – потрескивая, гудит керогаз, в эмалированном тазу ворчит и хлопает варенье, одурело, неповоротливыми бомбовозами над тазом кружат осы.

Мне восемь лет. Я торчу на высоком пороге сарая, глядя, как бабушка снимает с варенья рыхлые розовые пенки и собирает их в гранёный стакан. На голове её цветастый платок – я не помню бабушку простоволосой, как не помню и без папирсы во рту или в руке; лоб орошён крупной испариной, на кончике длинного носа, норовя сорваться вниз, блестит большая капля.

Густой аромат варенья смешивается с запахом свежепиленной древесины: вдоль задней стены сарая, на высоту моего роста – поленница. Её вчера сложил я. Отец с одним из дядьёв, маминым братом, пилил во дворе сосновые брёвна, а потом ловко колол чурки большим топором. К зиме поленница будет под самую крышу и в несколько рядов.

На притолоке, прямо над моей головой, горит в солнечном луче красная звёздочка с армейской фуражки. Звезда аккуратно закреплена в деревянный брус маленькими гвоздиками и светится здесь всегда. Чья она? Отца или одного из многочисленных моих дядек? Решаю, вечером непременно прояснить вопрос. И, конечно, забываю.

Бабушка рукой отгоняет настырных ос, снимает таз с огня и, уперев его краем в тощую грудь, несколько раз встряхивает. Варенье кругообразно болтается в тазу, проскальзывая по самому краю, но не выплёскиваясь, и снова начинает покряхтывать на керогазном огне. Бабушка отступает на шаг и раскуривает погасшую папиросу – должно быть, папиросу потушила та самая капля, сорвавшись с бабушкиного носа.

– Бауш, дай пеночек, – прошу я.

– Сдурел? Осы там.

И, пока я, приподнявшись на цыпочки, разглядываю вяло барахтающихся в стакане насекомых, бабушка рассказывает страшную историю про то, как её знакомую оса, проглоченная вместе с вареньем, ужалила в горло, и та задохнулась в одночасье. Бабушка заканчивает:

– Вот я их повылавляю, тогда дам...

* * *

У меня, как, наверное, у всех, было две бабушки. Жили они почти напротив друг друга, и обеих звали Олями. Чтобы не путаться, мы с сестрой и наши родители, а потом уже и все остальные, никогда не называли бабушек по имени – так и говорили: «бабушка Петровна» (это мама нашей

мамы), или «бабушка Гавриловна» (мама нашего папы). За мной больше присматривала и воспитывала меня Гавриловна, в доме которой и жила наша семья; сестру же – она старше на два с половиной года – отдали на догляд и воспитание Петровне, и почти весь длинный летний день сестра проводила в доме напротив, через трамвайную дорогу...

Гавриловна строга, спуску мне не даёт. Она находит меня в самых потаённых уголках нашей улицы и даже в соседнем заросшем пыльными кустами грязном, помойном рву, по дну которого зловонно струится ручей со смешным названием Ленивец. Бабушка тихо подходит и, взяв за руку, выдёргивает меня из компании сверстников, готовящихся форсировать Ленивец по наведённой собственноручно переправе. И ведёт обедать.

Жарко, и есть хочется только огурцы, но у Гавриловны свои представления о питании ребёнка, и она заставляет меня съесть щи, а потом ещё и картошку, тогда как сама всегда только пьёт чай с булкой.

Отец называет Гавриловну на «вы» – наверное, он тоже её побаивается...

* * *

Морозящее осеннее утро. В школу нам с сетрой идти во вторую смену, потому сидим за столом, покрытым зелёной плюшевой скатертью, которая поверху, для страховки, застелена газетой, и скучно завтракаем. Бабушка Гавриловна дала нам манную кашу, положив в тарелки по хорошему куску масла, и ушла по своим делам в другую комнату. Стол стоит у окна, вид из которого... В общем, смотреть особо

не на что: потемневшая от дождя бревенчатая стена соседского дома, украшенная наискось глубоким шрамом от снарядного осколка военной поры.

Мы не любим манную кашу! И об этом знает весь мир, кроме бабушки Гавриловны. Проходя за нашими спинами, она заглядывает к нам в тарелки и возмущается, найдя их полными:

– Да вы что, совсем дохлыми хотите быть? Ну-ка, ешьте быстро! – и горестно добавляет: – Ох, завербуюсь я от вас...

Что такое «завербоваться», мы не знаем, но слово, скорей всего, страшное, потому что бабушка так говорит всегда, когда нами недовольна. Кстати, непонятно, почему «совсем дохлыми»? Я – мальчик вполне упитанный, сестру тоже худышкой не назовёшь. Вот сама Гавриловна худовата...

Бабушка возвращается с банкой вишнёвого варенья, говорит, ставя её на стол:

– Может, теперь дело шибче пойдёт. Кладите в кашу...

Варенье мы охотно съели бы отдельно, но делать нечего, – добавляем по большой ложке в кашу. Еда в наших тарелках сразу делается мистически лиловой, с чёрными бугорками вишен. Аппетита это не прибавляет, и мы находим себе развлечение: выковыриваем из загустевшей каши ягоды и, съедая сморщенную мякоть, плюём косточки на стол. Маслёнка у нас – школа, а банка с вареньем, стоящая поодаль, – многоквартирный дом, из которого идут в школу ученики-косточки. Плюнуть надо метко, чтобы косточка застряла на пути из «дома» в «школу». У меня получается лучше.

– Смотри, смотри! – восторженно кричу, видя, что косточка, выплюнутая сестрой, улетела дальше положен-

ного. – Твой опять прогулять собрался! В кино, наверное, пошёл!..

Снова призраком возникая сзади, Гавриловна выдаёт нам по подзатыльнику. Мера действует куда лучше уговоров, и завтрак заканчивается скоро...

* * *

Зима. Со двора не выпускают, чтобы не извалялся в снегу, катаясь с крутых склонов помойного рва. Как будто я не изваляюсь во дворе, где тоже полным-полно привлекательных сугробов!

За какой-то надобностью забредаю в сарай и нахожу на старом сундуке топор. Его лезвие почему-то перемазано жёлтым крупчатым мёдом. Интересно, что это значит? Или мёд так замёрз, что его пришлось рубить топором? Трепетно принохиваюсь – действительно, мёд! Удержаться и не лизнуть нет сил. Мёд тает на тёплом языке, чудесным нектаром проскальзывает в горло... А язык остаётся на промёрзшей до звона железке. Конечно, я ору. Мне больно, мне страшно, мне хочется пожаловаться маме, что подлый топор схватил меня за язык, впился в него зубами и не хочет отпускать. Но хорошо у меня получается только диковатое, отрывистое мычание.

Дома топор, а заодно и мой язык, отливают тёплой водой, освобождая их друг от друга, но ещё несколько дней я не могу нормально кушать...

Этот подвиг членовредительства я повторю через три года. Мы, четвероклашки, вдвоём с приятелем будем возвращаться из школы узкими дворами пятиэтажных домов, где стоят эти-кие железные штуки в виде буквы «П», вкопанной в землю, –

они предназначены для сушки белья, но очень неплохо могут служить футбольными воротами или вместо волейбольной сетки. Приятель зачем-то предложит мне лизнуть одну из железных стоек, и я, дурак, уже имеющий горький опыт таких контактов, послушаюсь его... Домой, отливаться водой, с громоздкой каркасиной на языке не побежишь...

Кстати, о мёде. Ещё через два года, с тем же приятелем, опять же после уроков, мы забрели в гости к третьему нашему товарищу и втроём – не скажу, что времена тогда были очень уж сытные, – слопали трёхлитровую банку великолепно засахарившегося мёда. Не буду рассказывать, как мне было нехорошо, но больше мёда я не ел никогда в жизни...

* * *

Снова лето. Марево над просёлком причудливо клубится и завивается – кажется, вот-вот из горячих сгустков проявится сказочный джин и громовым голосом станет вещать что-нибудь про исполнение моих желаний. Мы всей семьёй идём в лес, называющийся непонятно и даже страшновато – Андриабуж...

Мы приехали на дряхленьком автобусе. Я сидел на переднем сиденье – получалось, только мы с шофёром смотрим вперёд через лобовое стекло. Я представлял, что мчусь на мотоцикле: крутил рукой поручень, добавляя газу; вдавливал ногами в пол воображаемые педали, притормаживая; наклонялся в сторону на поворотах, удерживая равновесие своего стального коня.

Рядом с отрешённым лицом сидела бабушка Гавриловна. Вдруг она почему-то засуетилась, встала и шагнула к водительской кабине. Автобус тряхнуло, и бабушка неле-

по, не выпуская из рук маленький алюминиевый бидончик с молоком, упала...

И вот мы шагаем пыльной дорогой к лесу. Вернее, шагают впереди отец с мамой, несущие сумки с едой, а мы с сестрой плетёмся следом. Гавриловна замыкает процессию.

Может быть, даже наверняка, с нами идёт кто-то из наших дядей и тётей, но память не пускает меня глубже, отказывается рисовать все детали этой картины... Но перед глазами посейчас стоят ярко-белая молочная лужа на затоптанном автобусном полу и бледные, отдающие синевой, худые бабушкины ноги под задравшейся юбкой. Сердце больно сжимается на миг, замирает и снова гулко толкается в рёбра... Ну зачем, зачем она взяла в лес это молоко?..

Лес стоит высоко, подпирая громаду своей кроны берёзовыми, осиновыми, ольховыми стволами. Здесь хорошо – пыль и зной остались на дороге. Мы приехали не за грибами и ягодами, а чтобы просто быть в лесу: сидеть на разостланном под кустом покрывале, хрустеть огурцом и прихлёбывать терпкий квас, слушая монотонный разговор беспокойных листьев и ленивую переключку неведомых птиц, а потом играть на полянке в бадминтон...

Мы с сестрой заблудились. Отошли-то от полянки совсем чуть-чуть и... потерялись. Ходим битый час во все стороны и никак не можем выйти к родителям. Покричать, поаукать не догадываемся или почему-то боимся. Я уже тихонько реву.

– Не плачь, – говорит сестра. – Сейчас пойдём вон за те кусты и найдёмся. Туда мы ещё не ходили... кажется.

А у самой голос испуганный, и в глазах отчаянье.

Выходим за кусты и натываемся на нашу стоянку и папу с мамой. Они и не думали беспокоиться – встревожилась и отправилась на поиски одна бабушка. Вскоре и она появляется из чащи, как всегда, молчаливая и не улыбочивая. Впрочем, ругать нас никто не собирается, и мы лежим на покрывале в окружении родных людей, с которыми хорошо и спокойно, и весело болтаем ногами...

В обратный путь по дороге Гавриловна ведёт меня за руку. Я устал, ноги идти не хотят. В автобусе сонно рассказываю бабушке, как мы, когда потерялись, нашли ёжика – он круглый и колючий, но совсем не страшный. Мы не стали его мучить и отпустили домой.

Гавриловна вынимает изо рта потухшую папиросу, смотрит на меня старыми глазами и тихо говорит:

– Оно хорошо, когда по-доброму. Легше так...



НЕ ОТСТАЁТ ПРОВИНЦИЯ – НЕ ГНАЛАСЬ НИКОГДА

Интервью православному литературному порталу
«Правчтение» (3 апреля 2019 года)



Приспело время обратиться к славному Орлу, в котором, по счастью, горит, не сгорая, поэт, необычайно близкий Правчтению в том, как тонко и бережно собирает он не настоящее, но прежнее, «картинки из детства», из которых выстраивается целый алфавит послевоенной и доперестроечной русской жизни. Наш разговор – с поэтом, главой Орловской областной организации Союза писателей России Андреем Фроловым.

– Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, как так выходит, что гораздо более любимыми словесниками в народе становятся не профессиональные литераторы, а люди, имеющие профессии? Пушкин – дипломат, Лермонтов – контртеррорист, Толстой и Бондарев – артиллеристы, вы по первому образованию – строитель. Важна ли для словесности – конкретика, знание ремесла?

– Не знаю, может, и есть среди писателей те, кто начинал трудовую жизнь профессиональным литератором, но я таких не встречал. Да и как представить себе, например, современного юношу, заканчивающего школу, который говорит: я буду ра-

ботать поэтом? Потому не стоит притягивать какие-либо профессии к литературе и наоборот. Этак мы далеко зайдём – вот уже и контртеррориста профессией обозначили. Люди в большинстве своём делают порой то или иное дело, например, воюют, по воле обстоятельств. А поэтами всё же рождаются. Иначе при утрате современным обществом интереса к литературе, да и, откровенно говоря, при недоходности профессии литератора, поэты давно бы вымерли. Однако ж рождаются. Профессии «поэт» – нет, есть такая работа: прилежно записывать просуфлированное свыше. Здесь важно услышать, не менее важно понять, что адресовано – тебе. Дальше (в ту или иную сторону пойдёшь) всё зависит от твоего нутра. И, полагаю, последнее дело – начинать разбираться, почему выбор пал именно на тебя, – прямая дорога к самолюбованию и гордыне.

– Как случилось в вашей судьбе обращение в словесность? Влиял ли кто-нибудь особенно, или внутренний импульс к письму развивался самочинно, скорее противодействуя среде? Дело в том, что, как выясняется, не было в мире более склонной к литературе страны, чем Советский Союз, и мы родились в порой даже перенасыщенном литературными аллюзиями пространстве, несмотря на то, что росли в обыкновенных дворах. Все ассоциации – из классики. Так ли было с вами?

– Как было? Среде противодействовать не приходилось уж точно. В хорошей среде рос, в дворовой. Учителя хорошие были. Вообще, как-то так вышло, что хорошие люди случались в моей жизни чаще, чем плохие. Читать начал довольно рано – лет в пять или шесть всюю зачитывался военными рассказами: о лётчиках, танкистах, разведчиках. А вот самой

любимой книгой детства стала «Витя Малеев в школе и дома» Николая Носова. Стихи не любил и знать о них не хотел, пока классе в пятом не обнаружил, что думаю иногда в рифму. Вот и судите о влиянии эпохи на склонность к литературе отдельно взятого человека в отдельно взятой стране. Кстати, не отпращивайте меня совсем уж в прошлое – не только о прошлой жизни пишу, о настоящей, о будущей. О жизни – вообще.

– Кого из классиков вы числите в своих учителях, и почему? Мне представляется, что Твардовский с его поразительным внутренним трудом и намеренной, кажется, простотой стиля является одним из ваших Вергилиев. Прав ли я?

– Безусловно, знание и глубокое почитание русской классической литературы совершенно необходимо современным пишущим людям, но, судя по содержанию вопроса, вы ждёте от меня ответа о классиках именно советской литературы. Конечно, вы правы! Да, Твардовский. Правы и в том, что «одним из». Учиться можно и нужно у всех, кто создал что-то значительное до тебя. Мне, например, очень близко – по душевной отдаче, что ли, – творчество целого ряда советских поэтов, отнесённых к так называемой «тихой лирике». Николай Рубцов, Владимир Соколов, Анатолий Передреев, Алексей Прасолов... Их много ещё – не перечислишь. Особняком стоит, конечно, великолепный Алексей Решетов. Многому учился и учусь у своих земляков: Анатолия Шиляева, Виктора Дронникова, Ивана Александрова. К сожалению, они уже ушли из жизни, но с двумя последними я успел, надеюсь, подружиться. Да и сейчас, слава Богу, живут и работают многие – не буду их называть

поименно, – до уровня которых мне далеко. Знаете, я весьма скептически отношусь к сделанному собой, поэтому учиться ни у кого не зазорно.

– Современный наш читатель зачастую легкомыслен, но чаще всего замордован, закручен в вихрях «выживания». Книги и журнальные подписки – не для его кошелька, а коли и попадётся что-то стоящее, то по редкой рекомендации персон уж совсем нелитературных. Так и верят – на слово. «Сам сказал!» – а кто такой «сам»? От земли не видать... Если бы вас спросили, какую затаённую, не видную извне, но самую главную мысль вы несёте в своих стихотворениях и рассказах, что бы вы ответили?

– Не знаю, не спрашивали. А и спросили бы – не сказал. Наверное, надо, чтобы всё же она, эта мысль, была понятна и видна извне – читателю. Всё – в стихах.

– Читая вас, испытываешь впечатление, сходное с тем, что непременно приходит к читателю японских поэтических миниатюр: точный минимализм, предельный лаконизм, попытка донести и запахи и звуки. И лишь одно отличие от хайку и хокку – не отстранённость, а скупая мужская любовь к существу. Мгновенно проносятся пейзажи, в которые успеваешь не только всмотреться (чай, не окно экскурсионного автобуса), но вжиться. Как вам это удаётся?

– Ох, ну и вопрос... Честно, не знаю. Вы же меня обо мне спрашиваете. Как ответить? Видно, получается что-то. И дай Бог. Одно скажу: любовь есть жертвенность. Всегда! А теперь посмотрите на выражение «скупая жертвенность».

Думаю, ерунда получается... Другое дело, если любовь внешне выражается скупыми средствами. Но это, действительно, уже другое дело.

– В чём для вас состоит сущность поэзии? Есть ли у вас своё определение её?

– Не ищите у меня оригинального ответа. На этот вопрос давно и очень точно ответил Владимир Соколов. Позволю себе привести его стихотворение полностью:

Что такое поэзия? Мне вы
задаёте чугунный вопрос.
Я как паж до такой королевы,
чтобы мненье иметь, не дорос.
Это может быть ваша соседка,
отвернувшаяся от вас,
или ветром задетая ветка,
или друг, уходящий от вас.
Или бабочка, что над левкомом
отлетает в ромашковый стан.
А быть может, над Вечным Покоем
замаячивший башенный кран.
Это может быть лепет случайный,
в тайном сумраке тающий двор.
Это кружка художника в чайной,
где всемирный идет разговор.
Что такое поэзия? Что вы!
Разве можно о том говорить.
Это – палец к губам. И ни слова.
Не маячить, не льстить, не сорить.

Вот и для меня поэзия – то же самое. Сущность её – таинство необъяснимое. А ещё Соколов говорил: «Поэзия – это великий труд души и совести». И здесь согласен. Добавлю, что, если хоть одна строчка затронула читательскую душу, значит, стоило трудиться над этим стихотворением. И по большому счёту неважно осталось ли в памяти читателя имя поэта.

– В столицах российских, что южной, что, наверно, и северной, у руководства литературой стоят достославные сторонники мирового либерализма, а в губерниях почти подчистую – почвенники. Естественный отбор или естественный выбор, я имею в виду vox populi? Правомерно ли считать на таком основании, что провинция-де отстаёт от новомодных тенденций, стилистически архаична? Или – прозорлива, и в консерватизме своём осознаёт, что никакая новомодность словесности не спасёт, а скорее погубит?

– Не отстаёт провинция – не гналась никогда. В конце концов, литература не соревнование. Ни между регионами, ни между личностями. У меня, например, нет нужды кому-то что-то доказывать, с кем-то меряться силами. Каждый должен находиться на своём месте и делать свою работу, как ему Господь промыслил. А в столицах, наверное, искуса поболее, к славе прильнуть полегче – вот людей и «несёт»... Впрочем, и там есть очень хорошие писатели. Правда, не знаю, почему, но почти все они выходцы из российской глубинки.

– Тяжело ли собирать «Орёл литературный», главой которого вы являетесь? Пишут по стране примерно везде одинаково много, но – качество? Какую внутреннюю идею несёт в себе альманах, какой девиз никогда не предаст?

– Во-первых, я не являюсь главой, каждый выпуск альманаха – плод коллективного труда редакционного совета под руководством главного редактора, а им является профессионал с большим журналистским опытом Алексей Кондратенко. Ну а все мы, наверное, что-то понимаем в качестве положенного на бумагу слова.

Теперь о внутренней идее. Первый выпуск альманаха был подарочным изданием к XII съезду Союза писателей России, проходившему в Орле в 2004 году, но уже тогда предполагалась перспектива ежегодного издания как своеобразного годового отчёта областной писательской организации. Составители и авторы ставили перед собой цель сделать как бы «моментальную фотографию» местного литературного процесса, донести творческую палитру края до других регионов. На страницах альманаха публиковались новые произведения членов орловской организации, представлялось творчество молодых литераторов, чтилась память предшественников, создавших для нас благотворную творческую среду.

Однако очень скоро стало понятно, что, замыкаясь в кругу орловских авторов, мы рискуем сделать альманах однообразным и, в общем-то, не слишком интересным читателю как раз за пределами региона. Да и пример солидных журналов всегда был перед глазами. И уже с третьего выпуска были открыты двери для гостей – в первую очередь, писателей, друзей нашей организации. Гостевая рубрика прижилась и пользуется успехом по сей день. И в других аспектах альманах развивается и совершенствуется. Работаем, в общем. Без каких либо громких девизов.

– Кто из орловских словесников наиболее близок вам и мировидением, и стилистикой, а кто – уважаем за умение, которого вы, может быть, не находите в самом себе? По себе знаю, какие это разные разряды людей, и потому решил выделить их в отдельные категории. Можно ли говорить об орловской литературе, как целостном явлении 2000–2010-х годов?

– Тех, кто особенно близок, я уже назвал, а уважать мне, в силу должности, положено всех. Это, если официально. А так, конечно, во многих вижу то, чего нет у меня. Например, наша Ирина Семёнова – мастер блестящих историко-философских поэм, потрясающих своей масштабностью. Хотел бы я так уметь? Да. Но благоразумно понимаю, что не получится – не дано, дыхание другое. Повод для безмерного уважения и восхищения, но не для зависти. Прозаику Юрию Оноприенко подвластны любые жанры – от короткого рассказа до романа, и всё – удивительно хорошо! Ну неужели я буду ему завидовать? К слову сказать, в своё время я собрал свои рассказы в книжку, она вышла, не вызвав сколько-нибудь значительного интереса у коллег. На том и успокоился – видно, не моё. А новые книги Оноприенко – всегда для меня радость. Для читателя, думаю, тоже.

Что касается целостности орловской литературы: уж если мы, хотя и такие разные, собраны в одну организацию, сели в одну лодку, то и гребём, надеюсь, в одну сторону – тем и создаётся единая картина нашей литературы. При этом, наверное, всё же не стоит вычленять орловскую литературу в местечковую, отдельную от литературы русской.

– Какой вам видится литературная жизнь страны образца 2019 года? Что в ней вам по душе, а что вызывает отторжение? И на что вы – надеетесь, как на знак продолжения и словесности, и жизни?

– Очень мне по душе, что идеалы движущие Союзом писателей России остались прежними, основанными прежде всего на нравственности, на моральных устоях, складывающихся в Русском мире веками. Понимаю, как было не просто всё это сохранить – за последнюю четверть века были созданы все условия, чтобы обрушить исконное русское слово, загнать так глубоко, откуда не вылезешь. Не рухнуло. По душе – состоявшийся в прошлом году съезд Союза – то, как он прошёл, то, какое поступательное движение всем нам задал. Мы словно проснулись, очнулись от некоего анабиоза... Вы извините, что я всё про Союз писателей России, но считаю себя его частью и без него современной литературы (я – про настоящую, помогающую человеку стать лучше) не мыслю. Работа, честная писательская работа – вот что заставляет верить в продолжение и русской литературы, и русской жизни. Иначе – никак. Иначе никогда и не было.

Беседовал Сергей АРУТЮНОВ

ОБ АВТОРЕ

Фролов Андрей Владимирович родился 22 февраля 1965 года в Орле. Окончил Орловский строительный техникум, Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева. Работал – от плотника до инженера, в настоящее время – руководитель Орловского Дома литераторов.

Автор поэтических книг «Старый квартал» (2000), «Над крышей снова аисты» (2004), «Над туманом сад плывёт» (2011), «Посох» (2014, 2018 – издание второе, дополненное), сборника рассказов «Конечная остановка» (2006) и книги стихотворений для детей «Мы играли в догонялки» (2021).

Произведения публиковались во многих литературных изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, включены в антологию современной литературы «Наше время» (Москва – Нижний Новгород, 2009, 2010, 2011), антологию «Русская поэзия XXI век» (Москва, 2010). Стихотворения переведены на белорусский и испанский языки.

Член Союза писателей России с 2003 года. Поэт, прозаик. С 2015 по 2020 год возглавлял орловскую региональную организацию Союза писателей России. Делегат II съезда Союза писателей союзного государства России и Беларуси (2016) и XV съезда Союза писателей России (2018). С 2020 года – член правления областной писательской организации.

Заместитель главного редактора литературного журнала для детей и взрослых «Электронные Пампасы» (Москва), член редакционного совета альманаха «Орёл литературный».

Лауреат Всероссийских литературных премий «Вешние воды» (2009), «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова (2014),

им. Н. С. Гумилева (2018), «Ладога» им. А. А. Прокофьева (2018); Международной литературной премии «О, Русь, взмахни крылами!» им. С. А. Есенина (2015), V открытой Южно-Уральской литературной премии (2016), открытой литературной премии им. Елены Благиной (2022). Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, обладатель приза «Бронзовый Витязь» IX Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2018).

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	5
--------------------------	---

Обрывки снов... Стихотворения

1.

Колесо	13
Отражения	14
Восприятие утра.....	15
Затишье	16
Перед грозой.....	17
Воспоминание о летнем дне	18
В августе	19
«В период коротких закатов...».....	20
«Теперь, как и прежде, зима неизбежна...»	21
Зимняя ночь в Ялте	22
Байка.....	23
Проводы	24
В пути.....	25
«Петляет в сумерках дорога...».....	26
Посох.....	27
Видение	28
Юродивый.....	29
Репей.....	30
Река	31
Мужицкий разум	32
Идеалист	33
Едем!	34
Поезд дальнего следования.....	35
Белые берега	36
Роды в лагере геологов	37
Коммуналка	38
Бобыль.....	41

Одинокое счастье	42
Лото	43
Про соседку	44
Не пара	45
Танюха.....	46
Семь лет	47
Однолюб.....	48
Рассветное.....	49

2.

Грузовая.....	50
Весна во дворе.....	52
Поливальщик	53
Урок	54
Колесо обозрения	55
Зимняя рыбалка.....	56
Зарисовка	57
«В январе, беспокоясь о лете...»	58
«Сноровисто скрипят по снегу сани...»	59
Пироги.....	60
Июльские стихи	61
Съёмки	62
Триптих	63
«Я с тобою говорю об одном...»	65
«Подожди...».....	66
«Всё у тебя по полочкам...».....	67
Сватовство	68
Юг.....	69
Разлад	70
Отъезд	71
Возвращение.....	72
Десять лет спустя.....	73
Дочери	74
Тишина	75
«Кажется, я не умру никогда...».....	76
«Не добит ещё делами...»	77
«Пусть мне скажут, что я не такой...»	78

Дорога	79
«Сколько отмеряно, так ли уж важно...».....	80
«Всю-то жизнь мой отец слесарил...».....	81
«Вырастая до прежнего роста...».....	82
Фотоальбом.....	83
Убереги.....	85

3.

«Как на дежурстве...».....	86
Родина	87
Деревня	88
Когда-нибудь.....	89
На покосе	90
Рыбак.....	91
«Линялый август...»	92
Бабье лето	93
«Я не люблю осенний лес...»	94
«Картина российского быта...»	95
«Надсадно выла автострада...»	96
Глубинка.....	97
«В деревне Коровье Болото...».....	98
Ворожея.....	99
Кузьмич	100
Стройка	101
Случай.....	102
Былины.....	103
Сторож.....	104
Хозяйка яблоневого сада	105
Агроном	106
Храм	107
Свадьба.....	108
Воскресенье.....	109
Если о Руси.....	110
«Родина любимей не становится...».....	111

Гуляя по территории детства. Правдивые истории

1.

Краткая история одного чуда	115
Реализм.....	122
Душегуб	126
К бабке не ходи.....	133
Могила.....	141
Подъездный непокой Алёхи Струкова.....	147
Один из обыкновенных дней Валентины Петровны	151
Шестьдесят восьмой апрель	161
Проездной.....	167
Поликлинические истории.....	174
Вирус	183
Конечная остановка	186

2.

Перерыв на обед.....	190
«Мусорный день».....	194
Гуляя по территории детства	200
По пути.....	213
Самородок.....	226
Рыбалочная ночь	229
Родное.....	238

*«Не отстаёт провинция – не гналась никогда»: интервью
православному литературному порталу «Правчтение»* 247

Об авторе 257

Литературно-художественное издание

12+

Серия «Орловщина литературная – Современники»

Андрей Владимирович Фролов

КОГДА-НИБУДЬ...

Стихотворения. Правдивые истории



В оформлении книги использованы материалы из открытых источников

Подписано в печать 22.03.2023 г. Формат 60×84 1/16
Печать ризография. Бумага офсетная. Гарнитура Minion Pro
Объём 16,25 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 000

Лицензия ПД № 8-0023 от 25.09.2000 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в авторской редакции
в ООО Полиграфическая фирма «Картуш»
г. Орел, ул. 2-я Посадская, 26. Тел.: (4862) 44-51-46.
E-mail: kartush.orel@yandex.ru www.kartush-orel.ru